

Вячеслав КАРПЕНКО

И мой сурок

Книга для семейного чтения

Калининград, 2011

УДК 82-32.821
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
К 26

В оформлении обложки использована работа
Израила Гершбурга по мотивам картины
Антуана Ватто «Савояр» (1716).

«У природы много времени, но на созидание уходит его больше, чем на разрушение...» – Автор сборника пришёл к этому осознанию опытом собственной жизни. Геологические экспедиции на Севере, море Атлантики, егерство в горах Тянь-Шаня, конные и автомобильные маршруты Устюрта и плавни Балхаша – лишь часть кочевой жизни писателя Вячеслава Карпенко, давшей ему возможность не понаслышке узнать сложность взаимоотношений человека и природы. Конечно же, человек – «венец природы», но... венец должен венчать это сложное здание мироустройства, а уж никак не рушить его. И прежде чем «потреблять» дарованные природой блага, необходимо научиться её удивительной гармонии, осознать себя частью этого сложного планетарного организма, имя которому – жизнь.

- © В. Карпенко, 2011 г.
- © Калининградский ПЕН-центр, оформление, 2011 г.
- © А. Попов, иллюстрации, 2011 г.
- © И. Гершбург, обложка, 2011 г.

Предисловие

В дни моей молодости мы не ездили к басурманам нежиться на средиземноморских пляжах, пить «дайкири», приставать к девушкам и трястись на танцплощадках по вечерам. Мы ездили в противоположном направлении, на восток, в Среднюю Азию и Сибирь, работали кем придётся, зашибали копейку, поскольку тогда в Центральной России было гораздо меньше возможностей зарабатывать на «чёрном пиаре» и воровать.

Оттого у писателя Вячеслава Карпенко, человека пожившего и тёртого, есть о чём рассказать читателю даже критических, то есть безалаберных возрастов.

Как и многие творцы старшего поколения, он объездил полстраны, сменил десяток профессий, и в результате родилась, в частности, эта чудесная книга, полная тонких наблюдений над природой и человеком, населённая колоритными персонажами, которые имеют представление о предназначении человека и, в отличие от нынешних, знают, чего хотят. (Об автомобилях, загородных коттеджах, банковских счетах разговора нет). То-то любопытно будет неискушённому читателю узнать из этой книги, что существуют иные ориентиры, другие ценности, которые куда выше лакированного железа и силикатного кирпича.

В том-то всё и дело, что у сравнительно «старичья» и молодого поколения, живущих в скучной и довольно опасной стране, эта книга вызовет живую симпатию, что она повествует о жизни, ныне уже забытой и непонятной, как ритуалы зулусов или древняя каббала. Между тем в этой жизни было много хорошего, прочного, того, что в здоровом обществе передаётся из поколения в поколение и позволяет ему держаться, во всяком случае, на плаву.

С другой стороны, в книге Вячеслава Карпенко читатель найдёт массу интереснейших сведений из жизни природы в разных её проявлениях: от переменчивости погоды в казахских степях до фантастического путешествия морской свинки, пожелавшей выяснить, почему она состоит в звании именно морской свинки, а не свинки как таковой. При этом наш автор так внимательно и любовно живописует каждую былинку, каждую птичку, что нечувствительно приобщает читателя к тем сферам жизни, где (если не считать плотоядения) всё суть гармония и покой.

В этом смысле Вячеслав Карпенко – прямой продолжатель традиции

наших замечательных естествоиспытателей от литературы, Михаила Пришвина и Виталия Бианки, которые дотошно исследовали живой мир средствами художественного слова и поставили своё дело на небывалую высоту. В сущности, такой литературы нет больше нигде в мире (Фабра с его инсектами с расчёт не берём), и оттого особенно обидно за нынешнего читателя, который до того опустил, что его занимает исключительно чепуха.

Видимо, поэтому в подзаголовке этого сочинения значится: «Книга для семейного чтения», – то есть чтения неторопливого, вдумчивого, может быть даже вслух, при свете оранжевого абажура, чтения, рассчитанного на понимание взрослых, юных, отроков и детей. Ибо ничто так не воспитывает человеческое в человеке, как добрая книга о «братьях наших меньших», и ничто так не тешит «старичьё», как путешествие в прошлое и приятные воспоминания о былом.

Вячеслав Пьецух

И МОЙ СУРОК СО МНОЮ...



...Я НАЖИМАЮ кнопку звонка, и в ответ за дверью квартиры моего друга слышен резкий, почти птичий, ни с чем не сравнимый молодецкий посвист. Свист этот вырывается из стен, летит за окна, заставляет недоумевающе оглянуться прохожих, будит какие-то далекие, грустно-тревожные чувства, зовёт в облитые солнцем, уходящие вдаль поля и холмы. Не в далекие саванны и пампасы – в свои, рядом, выйди и присмотришься: поля и холмы, в которых бьётся жизнь, в которых каждый раз миг открывается – чудом. Если сумеешь добиться доверия этой жизни.

Я знаю, что там, за дверью, стоит на задних лапах круглоголовый приземистый толстяк, чем-то напоминающий крошечного медвежонка. Ласковый и доверчивый толстяк в рыжеватой шелковистой шубе, он умеет смешно танцевать, покачиваясь с боку на бок и прижимая к груди кулачки. Он любит печенье и яблоки, но ещё больше любит, когда с ним возятся, когда ему улыбаются и затевают с ним игру. Улыбку он чувствует даже в голосе. Его круглые чёрные глазки дружелюбно блестят, он урчит и заваливается на спину – золотистый и ленивый, ласковый и любопытный сурок. Чужой городу и этим каменным стенам с обоями, которые он поначалу обрывал, чужой и всё же такой доверчивый, такой открытый доброте...

И ещё я знаю, что если провести пальцем по его короткой шее, можно нащупать словно навечно надетый ошейник: шрам от проволочной петли, которая была поставлена пацаном-подпаском ещё осенью, когда до рождения сурчонка оставалось больше полугода. Оставлена и забыта, потому что сурки уже залегли спать. И не шевельнулась в том мальчишке память о куске проволоки, оставленном у норы, даже когда он зимой

переживал за Лесси, спасающей звериных детёнышей. Это так легко и ненакладно: быть добрым издаека... Настоящее же уважение к жизни требует и заботы, и терпения, и – жертвы. Того мальчишку у телевизора никто не научил такому уважению, никто не сумел вовремя показать взаимосвязанности любой жизни с его собственной. Не научить, не открыть – так просто и незаметно можно оставить почву для семени злого. И может статься, мальчишка этот уже получил иной «урок», уже видел, как кто-то из старших «потребляет» природу безоглядно.

А петля та ржавела до поздней весны, пока не затянулась на шее сосунка-сурчонка, которому всё же повезло: его выручил мой друг из экспедиции. Раненого сосунка вывели и привезли в город. Он вырос и привык к людям, и стоит сейчас за дверью, прижимая к груди кулачки в ожидании лакомства и весёлой возни.

Вот так же, прижав кулачки к груди и внимательно вглядываясь в горизонт, стоят его вольные братья на гладких, утрамбованных и далеко видных среди травы глиняных насыпях-бутанах в степи, на залитых солнцем склонах холмов и гор, у окраин спящих ледников...

Ранней весной, лишь только тепло зашевелит в земле ростки, над такой насыпью-холмиком у норы вдруг замечаешь круглую голову: ещё заспанную, уже удивлённую, всегда – настороженную и любопытную.

Проснулись. Пробудились сурки. Без них невозможно представить степь и холмы, без них будто мертвеют травы, дорога без них длиннее и томительнее, и небо без них – словно бесцветнее.

Проснулись. Проснулись почтенные матроны, пробудились солидные мужички, выскочили в первый раз нетерпеливые карандаши-сосунки. Пересвистываются, делятся впечатлениями. Ничего не изменилось за семь месяцев сна? Вроде, ничего: так же лежит этот порыжелый валун, как всегда карабкается на всплеск противоположного холма тропа, на которую надо внимательно поглядывать – не привела бы кого непрошеного. По-прежнему чуть покачиваются тонкие прутики барбарисового куста...

Жить можно, жить хорошо, жить радостно – пересвистывают друг другу сурки. И начинают возню на этом бутане, на соседнем – встречают гостя, с третьего – спустились к зеленеющей неподалёку траве.

Резкий свист – тревога! И ныряют в почти вертикальную шахту норы хозяева и гости, взрослые и малыши, катятся без оглядки, влетают опоздавшие. Чтобы через секунду где-то снова – за всех настороженная и внимательная – показалась поблёскивающая глазками голова: кто же здесь? Ага, это совсем низко несётся орел, его тень скользнула по опустевшим бутанам и растворилась в голубом воздухе. Далеко видит сурок, далеко слышен его предупреждающий свист, подхватываемый в следующей колонии, метров за триста, и дальше, дальше: «Мы никому

БЕЛИЧИЙ ПЕРЕПОЛОХ



СНЕГ всё не выпадал, а ведь уже и декабрь подходил к концу. Редкие рябины и одинокие берёзы в этом горном лесу стояли оголённые. Почернелые кусты смородины, шиповника и таволжки сиротливо гляделись среди елей. А ели казались насупленными, они устало поднимались по склонам холмов в горы, тяжело опуская тёмные свои лапы. И неспроста – еловые лапы словно набухли в частых туманах.

Лес устал ждать зимы.

Притихли, затаились зверушки. Лесные жители давно поменяли свои летние наряды к зиме, в надежде на снег и мороз. А Снегурочка, как видно, заблудилась где-то во влажных туманах...

Дед мой работает здесь лесником.

Вот и отправили меня к деду накануне Нового года. «Снегу к празднику нам пришли!» – смеялся папа. А где я возьму снег, если он даже в горах ещё не выпадал?

Нынче мы с дедом выбрались в его лес.

Ночью ветер разогнал облака. Солнце пыталось пробиться сквозь густые иголки ёлок, но до земли его лучи добирались только на полянах да вырубках. В таких местах, казалось, веселее и звонче, и никак не верилось, что дома скоро начнут наряжать ёлку. Здесь, на вырубке, негусто поднимался рябиновый подрост попеременно с чёрной ольхой. Кое-где краснели гроздья ягод, а от земли поднимался чуть заметный пар, розовые капли его тихо скатывались по чёрной коре.

Было так тихо, что мне захотелось закричать. Снизу, от подножья горы, где оставили мы дедова коня, слышно звяканье уздечки и фырканье. А ведь это не близко: мы почти час поднимались по склону, большой овраг миновали.

Уже и не верилось, что в этом лесу кто-то живёт. Потому и подмывало меня заорать, может, кого и разбудил бы!..

Как вдруг на поляне перед нами гулко захлопали крыльями.

Большая чёрная птица уселась на влажном суку высокой рябины. Тяжёлая птица – сук под ней прогибался и покачивался.

Дед невесомо махнул рукой: «Тише!». Птица сидела к нам спиной, только хвост, кренделями раздвоенный в стороны, посверкивал белым подбоем.

– Косач, – продышал мне в самое ухо дед.

– Знаю, тетерев.

Но я прошептал слишком громко. Птица обернулась. Мне даже показалось, что она укоризненно взглянула на меня. Забила крыльями по бокам.

И... не взлетела. Забыла улететь: внимание тетерева как раз в этот момент привлекли новые нарушители тишины.

Раздался стрёкот, быстрое цоканье. На краю поляны по ёлке промелькнули две белки, совсем близко от тетерева.

Серо-голубые шубки белок легко просачивались меж колючих веток, а тёмные хвосты отдавали золотом и воинственно торчали. Как у мангуст! Друг за дружкой белки перебежали по стволу и спустились к земле.

И всего-то метрах в десяти от нас с дедом – мне даже их лукавые глазёнки видны были. И принялись они гоняться вперегонки, прыгать и верещать при этом так громко, что уж ничего больше услышать было невозможно.

Ни на деда, медленно присевшего на пенёк, ни на тетерева, ни на меня шалуньи никакого внимания не обращали.

Тетерев грузно развернулся на своей ветке и с большим интересом принялся рассматривать весёлую парочку. Даже голову наклонял из стороны в сторону, будто присматриваясь к проказницам из-под насупленных красных бровей.

А белки увлеклись игрой.

Они улыбались друг другу, зачем-то барабанили лапками по земле, весело гримасничали. И стрекотали, хитро взглядывая то на тетерева, то на нас с дедом, то на солнце, к которому подбиралось тёмное облако.

Словно всех приглашая играть с собой. Лишь временами настораживали они свои ушки с кисточками на самых кончиках, прислушиваясь к чему-то подалеке от поляны. А потом вновь, ещё беззаботнее, кувыркали или стремглав догоняли друг дружку.

Даже когда дед чиркнул спичкой, белки не задали стрекача. Встали столбиками, забормотали на нас между собой, дёрнули подбородками... или носами, кто их разберёт – что у них где!

Потом, не очень-то спеша, словно две кумушки, которым помешали договорить, прыгнули на дерево к тетереву.

Тот потоптался на ветке, вытянул к болтуням голову – кажется, спросил о чём-то! И взлетел, тяжело захлопал крыльями между ёлок.

– Этих из Сибири привезли и выпустили! Прижились, ничего. Вон какие! – уже не сторожась, кивнул на белок дед. – Вот и они снега ждут, ишь – шубки богатые накинули...

Белки оглянулись на дедов хрипловатый шёпот. Затарахтели по своему да зацокали. Одна перепрыгнула на ёлку, потом на следующую. И вот она уже над нашими головами.

– Телеуткой её зовут, – шептал дед. – Ни к уткам, ни к телевизору никакого отношения, а вот поди ж ты! Зовутся...

Мы следили за той, что очутилась у нас над головой, боясь потерять белку из виду. Но хвостатая баловница и не старалась скрыться. Последние слова деда вроде чем-то её и затронули: обиделась ли? Встала на ветке, забормотала.

И в нас полетела шишка. Когда только успела прихватить эту шишку?!

И вдруг...

Будто именно этого её сигнала ждал кто-то: загремел гром. Да, да! Гром загремел. Молнию я не видел ещё, но ведь грома без молнии не бывает?! И я не слышал, чтобы в декабре случался гром, чтобы гроза бывала.

– Бывает... – сказал дед и протянул руку перед собой ладонью кверху.

Не дождь он ловил: сверху, словно наколдованные белкиными танцами, летели хлопья снега. Первого снега, почти новогоднего, но ещё по-осеннему влажного. Снежинки медленно и тяжело вато планировали к земле. Каждая порознь, как маленькие парашютисты.

Теперь я увидел и молнию: она была голубовато-зелёной на фоне лилового облака. А за облаком ещё синело небо.

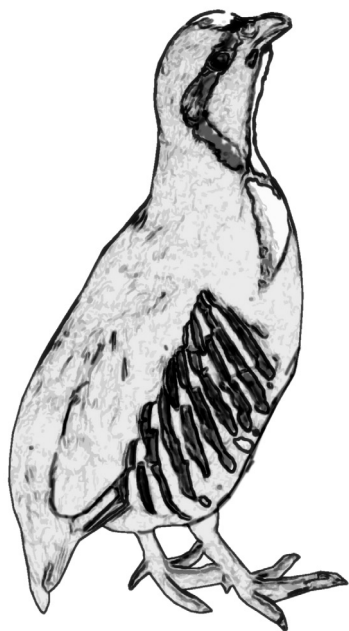
На новые раскаты грома белки ответили быстрым стрёкотом и согласо помчались прочь. Через минуту их пышные хвосты пропали в тёмной хвое.

Мы заторопились к дедову коню, в гриве которого уже путались слипающиеся снежинки.

Снег быстро одевал землю, укутывал её, заноса наши следы.

И – кто знает? – уж не разучивали ль те белки-телеутки, верещанье которых помнилось мне ещё долго и слышалось даже во сне, не разучивали ль они перед нами танец для своего новогоднего бала...

ГОРНЫЙ МАТРОС



ДЛЯ МЕНЯ история Матроса началась с того, что отец взял да и выпорол меня. За него, за Матроса.

Приехали мы к деду в горы. Я сразу побежал знакомой уже тропой к реке. Тропинка была каменистая и круто спускалась вниз, в глубокое ущелье, там и бурлила речка. Совсем неширокая, ее можно перейти вброд, только немного страшновато – вода быстрая и холодная.

Только я спустился к берегу, как увидел двух птиц. Они перебежали от одного валуна к другому: пробегут, склонут что-то на пути, и дальше. Серо-коричневые – как каменистые холмы на левом берегу. Я их ни за что не заметил бы, если бы эти птицы не двигались. И они не взлетали, хотя вовсе близко от меня совершали свои перебежки. Будто

напоказ! Это здорово, что я рогатку захватил!

На боку у ближнего ко мне, крупного, как голубь, виднелись темно-белые полосы, я так сразу и подумал – ну просто тельняшка! Его-то я и выцелил. Так и решил: «В этого Матроса не промахнусь!..»

Попал!

Птица подпрыгнула и упала с большого валуна. Я бегом. Рогатку бросив, перемахнул через речку. И страх забыл. Всего-то метров десять оказалось до добычи. Подскочил и схватил подранка за крыло. Теперь можно было разглядеть и полосы на боках, и красные лапки, одна из которых беспомощно болталась – это мой камушек попал. А клюв птицы, тоже красный, часто-часто открывался-закрывался.

Мне стало жалко Матроса. Таких птиц я и не видел никогда – что я

теперь делать с ней буду, с раненой? Вторая же птица почему-то не взлетела, а быстро побежала среди камней и скрылась. Потом я услышал, как она начала квохтать... прямо вовсе по-куриному. «Ко-ко-ко... Ке-ке-лик!» – услышал я её голос где-то на верху холма. Звала дружка, что ли?

А всё-таки – удача! И в первый же день! Я поднял свою меткую рогатку и вприпрыжку побежал к дому. Дед ведь охотник, он мне скажет, что за птица – этот Матрос. И увидит, как метко я могу стрелять!..

Ну, побежал – это на первых порах только, до подъёма по тропе. Чего уж хвастаться перед собой-то: я очень скоро стал задыхаться так, что пришлось сесть и перевести дыхание. В городе гор нет, даже и не думаешь, как тяжело по ним ходить... сейчас-то я стал замечать и камни на тропе, и корни деревьев, и поваленные сухие стволы. Чем выше, тем чаще садиться приходилось, однажды я поскользнулся на корнях – колена теперь саднило, и мне тащить птицу больше не хотелось. А как быть – не бросишь же раненую...

Но всё же пересилил себя и поднялся по тропе. Вниз-то куда как быстро сбегать, не то что обратно. Наконец и дом дедов близко показался. Отец же будто ждал меня. Он, конечно, успел пообедать. И торопился уезжать. Но они с дедом сразу увидели мою добычу.

– Кеклик. Весна в этом году тяжёлая для них, поздняя. Снегу много было, и морозы – до конца марта. – Это дед сказал.

– Ни к чему бы убивать, им сейчас птенцов поднимать надо. Весна, – ещё сказал.

Будто я нарочно заставлял того кеклика близко так бегать! Улетел бы... А отец ещё говорил, что дед хороший охотник. Мне хотелось удивить его своей удачей и меткостью.

– Он живой ведь, – ответил я деду и отдал ему подранка.

Взял же птицу отец, посмотрел, потом передал деду. И хотя торопился уезжать, но всё же торопливо меня выпорол. Несколько раз стегнул. А дед сказал: «Ладно, ему и самому жалко».

Отец тогда уехал, а дед выстрогал палочки, пристроил их на красную подрагивающую лапку и забинтовал. Потом заставил Матроса пить опускал его клюв в кружку с водой и поднимал головку кверху. Короче, недели через две мы с дедом уже могли выпустить кеклика на волю.

– А нельзя его с собой взять? Я в школу пойду, подарю... – снова переспросил я деда. Однажды он отмолчался почему-то. Лапка у Матроса была немножко кривая, под моими пальцами слышимо тотокало его сердце.

– Погибнет, – ответил дед. – Какая вольному взрослому зверю... или, к примеру птице, жизнь в неволе!

Я сам хотел отнести кеклика туда же, где подранил.

– Найдёт дорогу, там другой стаи нет. Найдёт, – успокоил меня дед и расхохотался, когда я подбросил птицу в воздух. – Он тебе голубь, что ли!

И в самом деле: Матрос, вместо того чтобы лететь, сел почти рядом, повертел головой, потоптался ещё на одном месте. Мне даже показалось, что он притопнул своей вылеченной лапкой. А потом сделал тельце веретеном и быстро-быстро побежал в сторону конной тропы, по которой я его поднимал раненого.

– Прирождённый пешеход! – одобрил его дед.

Хромоты у Матроса почти не было заметно, и он скоро скрылся в траве.

Прошел год. Я снова приехал к деду. И вот сейчас сидел на высоком берегу реки и смотрел в дедов бинокль. И видел, как лисица крадётся к большой стае кекликов-поршков, склёвывающих что-то на каменистом склоне другого берега. Тот берег порос шипичкой и мелкой травой, это там в прошлом году я выцелил своего Матроса.

Внизу река гулко хлопала камнями, перекатывающимися по дну. Лето было в разгаре, и воды в реке прибавилось: в горах, где-то вовсе высоко, таяли снега и ледники. Красноватый каменистый склон спустился к самому берегу реки на той стороне. Он порос низкими кустами и травой. И лисица ползком подкрадывалась к стае кекликов.

В стае было около двадцати маленьких и шустрых птенцов, чем-то похожих на небольшие веретёнца, перевёрнутые тонким концом к небу. Голубому-голубому, прямо-таки выгоревшему от постоянного солнца. Птенцы уже бойко бегали, но летать ещё не умели. Порхали, быстро-быстро махая крылышками и только прыжками отрываясь от земли. Бегали же они не настолько быстро, чтобы лиса не могла их поймать, если подкрадётся и выскочит внезапно.

И сейчас рыжей оставалось лишь выбрать самого ближнего и нерасторопного, а то и двух: лисица, прикрытая небольшим островком арчевника, была уже в нескольких шагах от стаи...

А я ничем не мог им помочь!

Я видел лису и кекликов в бинокль со своего обрывистого берега реки. Река бурлила далеко внизу, хотя по прямой казалось вроде и близко – а поди вот, достань!.. Единственное оружие – всё та же рогатка, которую я теперь с согласия деда носил для охраны от диких зверей, – это единственное оружие бесполезно валялось рядом. Не дострельнёшь... да и что такое лисе мой камушек! Даже крика моего не услышат ни птенцы, ни затаившаяся лиса – я уже пробовал. Оставалось наблюдать за охотой этой рыжей хитрюги и ждать, кого же из стаи лисица захватит врасплох.

Но он-то! Про него я будто забыл! А он был не меньший хитрец и умница, мой старый знакомый, Матрос! И он был там, это ведь его птенцов и его самого выстораживала сейчас лисица, прижимаясь к рыжим камням!

...Весной, только я приехал, дед повёл меня в эти же места. Вернее, мы поехали верхом на большом дедовом Сером, но только перебрались через речку, как дед оставил лошадь и повёл меня в большие камни и глыбы по склону. Повёл, отчего-то заговорщически подмигивая. И здесь перед нами выскочил... Матрос. Нет, не тот мой кеклик, поменьше. «Подруга его», – сказал дед.

Подруга вертелась в нескольких шагах, хромала, падала на бок неуклюже и смешно, неловко поднималась, с кривым прискоком отбегала, чтобы снова припасть к земле. И не взлетала.

– Отводит! – подмигнул дед. – Смотри!

В ямке среди камней, почти на голой земле, лежали яички. Я быстро сосчитал – двенадцать. «Не трогай!» – «Да я просто считаю».

– Одиннадцать, – сказал дед.

– Нет – двенадцать!

– А-а, значит, донесла ещё одно. Пойдём дальше...

Подруга-кеклик ещё поспотыкалась перед нами, потом что-то «кудакнула» и скрылась. Мы не прошли и двадцати шагов, как выскочила вторая птица. Эта была крупнее, вся взъерошенная, злая так, что сразу видно – будь большим, обязательно не дал бы этот кеклик нам спуску! Но был он всего-то с большого дедова цыплёнка, только красивее, – откуда у цыплёнка тельняшка! Этот тоже начал вытворять штучки с прискоком и припаданиями, с хромотой и жалобным попискиванием. Он и перья топорщил, словно узнал меня.

– Он самый, Матрос твой. Крестник, – подтвердил дед. – Оставь его, пусть попредставляется!.. Иди сюда.

Дед показывал под камень: там в углублении лежали... ещё яички. Я даже наклонился, не веря. Уж я не такой маленький, чтобы не понимать – петух яйца не несёт.

– Какой же он Матрос, когда яички... Они, выходит, обе «подруги»!.. – протянул я разочарованно.

– Он и есть Матрос! – И дед рассмеялся, довольный моим удивлением. – Я и сам недавно только понял, да вот теперь уверился: оба они птенцов высиживать могут... курочка и петух! То-то стая будет, да?! Два года у нас засуха была, зимы снежные, тяжкие – совсем кекликов мало оставалось. Хорошо, эти выжили. Думаю, этот год хороший будет, они чувствуют. Потому вот «двойняшек»-то и придумали, мудрецы, – она для Матроса твоего яичек отложила, он теперь высиживает. И поднимут ведь!

И вот сейчас я ничем не мог помочь его, Матроса, стает...

Что там говорить – красивая была эта хитрюга рыжая: с её вытянувшимся огнистым телом, под которым не видно лап, с острой мордой и плотно прижатыми ушами. Она струилась по земле вовсе незаметно для глаза. Если бы не чуть подрагивающий легковесный хвост её да не

всё более короткое расстояние меж нею и птенцами, казалась бы лисица совсем неподвижной.

Её охота была бы мне ох как интересна... но сейчас лиса меня бесила до слёз. Потому что показывала моё бессилие! Как чужая выигрывающая команда – ты-то ведь болеешь за другую! И что тебе за дело до красоты игры, если своим ты помочь не можешь... даже криком!

А ведь там, в стае же, безмятежно – так мне виделось в бинокль – что-то клевал и мой Матрос, чуть в стороне и потому в безопасности. Склонет, поднимет голову, поглядит в сторону лисы, наклонит голову и снова клюнет. Кажется, я даже видел, как он глазом косил! Что же ты, не замечаешь, что ли!!

Не-ет! Он всё же умница: чуял мой Матрос охотницу! Я плотнее прижал бинокль, следя, как полукругом, будто ничего не подозревая и все так же беззаботно склёвывая, самый крупный кеклик приблизился к лисе, вжавшейся в щербенистую осыпь. Их разделял только куст арчи, густой низкий куст, за которым лисица его не угадала.

Рыжая гипнотизировала двух поршков, до которых оставался всего-то хороший прыжок. Хвост лисы задрожал сильнее, я сам ощутил, как она выбирает опору для лап... сейчас прыгнет...

А он, мой маленький горный Матрос, наверное, здорово боялся – закричал даже, я видел его раскрытый клюв, когда... да что же он делает-то!.. – он прыгнул чуть не в самые зубы хищницы!

Вот жалела она потом, что не заметила рядом такой добычи! Я и то вскочил – вовсе не ожидал подобной прыти и такого нахальства от мелкой птахи, от этого кеклика! Птица ведь, из рогатки подобьёшь... а – храбрец какой отчаянный!

Лисица же растерянно клацнула зубами, промахнулась... опешила лишь на секунду... Но этого хватило, чтобы знакомец мой отскочил к пышному лисьему хвосту и... Нет, не полетел ведь! – посеменил от лисы, волоча крыло, спотыкаясь, разыгрывая, как по нотам, весь тот спектакль, который репетировал перед нами с дедом когда-то возле гнезда.

Лисица недолго приходила в себя. Пружинной жёлтой вспышкой метнулась она за бегуще-хромающе-прыгающим кеклом.

Он вспархивал – неумело, неловко, но... неуловимо и непойманно – у самого носа, у самых зубов, как-то боком отлетал на несколько лисьих прыжков прочь и снова испуганно семенил по осыпающимся камушкам... Наверняка он и верещал при этом отчаянно, хотя предупреждения уже не требовалось: стая исчезла!..

Метр... десять... пятнадцать, тридцать метров... ещё кривой вспорх... ещё метры качающейся земли, шуршанье скатывающихся из-под резких лисьих лап камней... А где-то далеко наверху, в острых скалах – даже я услышал! – успокоительно-громкое: «К-ко-кох-ко-их-кек-ли-ик!»

И вот – треск-свист сильных крыльев над головой метнувшейся лисицы. И – плавный полёт, планирование над открывшейся пропастью, над каменистым распадком... не успеть туда рыжей! К скалистому гребню. Вскоре там, всё дальше, уже шла переключка: «Ко-один-кво-ко-десять-одиннадцать-кро-ко-двадцать-один...» Все!

– Нет, моего Матроса за так просто не возьмёшь!!! – орал я, махая сконфуженной лисе руками и прыгая на краю своего обрывистого правого берега бурлящей речки.

КОЛЮЧКА

Рассказка

*Всяк бугорок спотыклив
да важен,
да не всяк – по уму...
(поговорка)*



У ГЛАШИ не было ни брата, ни сестрички, а время детского садика кончилось. И у неё начиналась новая жизнь.

Зато был у маленькой Глаши большой друг. Дядя Володя, художник.

Вообще-то друзей у неё много вокруг, потому что всем она любила помогать.

– Ох, Глашенька, скоро осень, и ты в школу пойдёшь. Кто же мне за хлебом сбегает, – стала даже гово-

рить соседская бабушка Зоя Николавна.

– Ничего, – отвечала девочка. – Мне ещё утром голубей покормить надо, а у кошки Милы скоро котята выведутся. И у Лёшки-терьера лапа больная. Я во вторую смену попрошусь учиться!

Много друзей и забот у Глаши, но самый большой всё же дядя Володя. Потому что он один умел всё-всё рисовать, и к тому же они оба любили зверей и цветы.

У художника в квартире жили: два ежа, старый кот Базиль, который лучше отзывался на имя Васька, лохматый, огромный и добродушный сенбернар Атилла, на нём даже верхом можно было проехаться. И ещё приставучая сорока Зинка.

На окне в круглом аквариуме плавали золотые рыбки и ползали улитки, да и окна почти не было видно – его завивали цветы, которые цвели редко, но поливаться хотели часто. Глашке приходилось об этом напоминать другу.

Подружились они из-за котят, сначала Милиных, а потом и просто чужих.

– Что-то от меня приятели прятаться стали! – смеялся иногда дядя Володя, рассказывая, где поселился очередной их подопечный. Но город большой, а знакомцев у художника много даже и за городом.

И ещё, когда Глаша приходила полить цветы и погладить Атиллу, художник рисовал ей зверей и птиц, и деревья, и стрекоз, и голубое небо, и солнышко на нём или тучи с дождём, а то и туман – это смотря по их настроению. И всё было очень похоже, так что маленькая Глаша могла долго сидеть у его картинок для неё, представлять себя среди зверей, птиц и леса и тихонько разговаривать с ними, совсем тихонько, чтобы не мешать.

Вот из-за такого рисунка всё и началось.

Вернее, началось всё тогда, когда в соседнем дворе Глашка, догоняя выпавшего из гнезда воробьёныша, наткнулась на колючку. И в одной руке принесла к дяде Володе занозу, а в другой – воробыша.

– Сейчас-сейчас, ты только не плачь, – приговаривал дядя Володя, сразу понимая, что произошло, и не сердясь.

– Я и сначала не плакала, это слёзы сами текут, а мама ругаться будет...

– Пойдём, я знаю, где его гнездо, а то вот Базиль уже интересуется! Сейчас покажу, где живёт этот желторотик, а потом мы тебя в момент вылечим и коленки отмоём.

Художник прикрыл полотенцем большую картину, которую он всё рисовал для выставки. «Всё равно не примут... не возьмут», – бормотал он про себя как песенку.

– Почему же не возьмут? Она красивая. – Сказала Глаша. Она уже видела эту тётю на портрете, и Атилла сидел рядом, положив голову к ней на колени. Голова была тяжёлая, а глаза Атиллы были ещё грустнее, чем обычно.

– Потому что потому... не возьмут и всё. Ты где-нибудь видела красных женщин и голубых собак? Вот и пойдём.

Он залез на дерево, где в дупле, оказывается, пряталось гнездо, а не под крышей, как она думала. Художник даже поднял её к себе, чтобы и девочка посмотрела на всех птенцов. Их найдёныш оказался самым взъерошенным и писклявым. На верхних ветках ругательски верещала воробыха, но Глашка не удержалась и погладила птенцов. Они открыли клювы, запищали, один даже ущипнул за палец. Видно, им всё равно кто здесь, лишь бы накормил.

Дома дядя Володя вытащил из её ладошки большую занозу пинцетом и смазал руку одеколоном.

– Терпи, – говорил он и дул на ранку, а сорока Зинка суетилась рядом на столе. И сенбернар подошёл лизнуть, ободряя, но начал чихать от одеколona.

– А вот и видела! – сказала, чтобы не показать накатывающихся слёз и успокоить Атиллу.

– Что видела-то, птаха-понимаха?

Она понимала, что ему невесело и теперь не до неё. Художник встал, прогнал с плеча сороку и снял полотенце с картины. «Не примут... не возьмут...»

– Голубого Атиллу видела, – настаивала девочка. – Вечером зимой!

– Может, и видела, глазастая фантазёрка! Иди сюда.

Красная тётя на картине была красивой, но её глаза будто не видели голубого сенбернара, а рука с тонкими пальцами не гладила, а будто хотела оттолкнуть голову с колен. А глаза Атиллы грустно смотрели в красивое лицо.

Вот за эту атиллову грусть тётя Глаше и не нравилась. И хотя девочка ничего не сказала, художник снова закрыл картину.

– То-то и оно! – улыбнулся он почти как Атилла. – Не примут голубую собаку, не возьмут – не увидят. И женщина красная... так-то... они лучше знают, как художнику писать. Давай-ка лучше тебе порисуем, школе подаришь. Что изобразим?

– Всё равно она красивая, ваша тётя, – успокоила девочка и под села к столу.

Художник уже рисовал речку.

Быструю горную речку, вода в ней бурлила, неслась по камням, а берегов у речки не было: вместо берегов над течением поднимались крутые скалы. И никому здесь не могло быть места, на этом рисунке, возле этой куда-то спешащей реки.

– Не нравится?

– К ней ведь никто подойти не сможет, а если олень пить захочет? – схитрила Глаша.

Дядя Володя засмеялся, взял второй лист, приклеил к уже нарисованному.

– Это мы сейчас поправим. Смотри...

С первого листа на другой упал водопад. Вода закипела под падающим потоком, закружилась в небольшом омутке и затихла на излучине у покатога берега, к которому подходила широкая тропа. Потом речка забурлила себе дальше, там снова поднимались скалы, и течению приходилось перепрыгивать через валуны. Но зато вокруг тропы, что подходила к самой воде, выросли густые кусты, поднялись деревья, и дуб отбросил тень на излучину. И появились звери.

Тропа была широкая, удобная и мирная: маленькое – всего-то с блюдце – озерцо-омуток могло всех напоить и примирить на время жажды.

Вот поднял голову с ветвистыми рогами красавец марал, с губ его ещё стекают чистые струи воды, а затуманенные глаза высматривают кого-то на другом берегу. И рядом с ним, скосив взгляд на роющегося в песке медвежонка, чуть замутив передними лапами воду, пьёт коричневая, почти чёрная, медведица.

На тропе уже хрюкает горбатый, с поднятой щетиной, с загнутыми на длинном рыле клыками, кабан. А у небольшого куста присел и насторожил уши заяц.

Кукушка кому-то задумчиво отсчитывает годы, сидя на суку старой ольхи. А выше неё из дупла выглядывает хитрая мордочка белки.

И шмель ровно гудит на красном диком пионе, а на шмеля, смешно склонив глазастую голову, удивлённо и заворуженно смотрит косулёнок.

– Такая речка подходит?

– Да-да... подходит, здесь хорошо всем, – отвечает Глаша.

И здесь зазвонил телефон. Художник взял трубку и сразу стал серьёзным.

Под его руками ещё лежала разноцветная картина жизни у реки, в пальцах ещё каталась коричневая палочка пастели, но было видно, что уже забыл он и про водопой, и про зверей возле него. И про Глашку забыл, которую зачаровала мирная жизнь в картине.

Не к месту заципала царапина, напомнив про колючку и занозу. И про голубую собаку с красной тётёй вспомнила, потому что дядя Володя говорил в трубку, а посматривал на свою завешенную картину и становился всё озабоченнее. Девочка посмотрела на царапину, на след от занозы, ещё совсем горячий, и подумала, что голубой собаке тоже было бы больно, наткнись она на колючку. А красной тётё?

– А я ту колючку всё-таки вырвала! – сообщила она.

– Колючку? Да-да, это хорошо... – рассеяно ответил художник и снова заговорил с телефоном. – Нет, это не вам, отвлекся на секунду: у моей соседки занозу вытаскивали, вот она и вспомнила про колючку. Нет, совсем маленькая соседка, но да – красивая. Вот в первый класс с ней собираемся скоро. – Он засмеялся чему-то в трубку и стал медленно, не глядя почти, водить по рисунку у реки коричневой пастелью. – Да, конечно, сейчас принесу...

Положил трубку, потёр себе лоб и бросил пастель на речной рисунок.

– Ты побудь-поиграй, птаха-понимаха, всё равно твоя мама ещё на работе. А я скоро вернусь, тогда и чаю попьём. – Взял свою большую картину и ушёл.

Глаша ставит картинку на опустевший мольберт. Пришлось встать на цыпочки, но всё же установила: теперь сюда хорошо падал свет, и все

звери будто сразу ожили. А вода – тоже будто живая – падала с уступа, ровно рокотала и кружилась в небольшом омутке и затихала на излучине у покатога берега.

У самой воды, утонув копытами в золотистом песке, высматривал кого-то на другом берегу марал в золотой короне рогов. Всё так же рылся в песке малыш-медвежонок, и косила на него глазом пьющая из речки медведица.

Глаша уже знала, что у водопада куковала кому-то кукушка, смеялась в дупле белка, и недовольно о чем-то хрюкал на тропе горбатый кабан с пожелтевшими загнутыми бивнями. Поводил ушами заяц под кустом, и гудел на цветке под удивлённым взглядом косулёнка чёрножёлто-полосатый шмель.

К солнцу подплывало еле видимое облако, а речка, наполнив прозрачной водой озерцо у водопада, снова торопилась куда-то вниз от этой мирной тропы.

Девочка, зачарованная картиной, поправила один её бок на мольберте. И, опуская руку, вдруг... укололась.

– Непорядок! – раздался скрипучий голос.

Даже Базиль-Васька, дремлющий на диване, поднял голову на этот скрип, а сорока Зинка подпрыгнула на открытой створке форточки и завертела хвостом. Встал с места возле кресла сенбернар Атилла и пошёл к замершей возле картины Глашке.

– Это я, я говорю – не-по-рррядок! – вновь раздражённо проскрипел голос.

И Глаша увидела, как на широкой мирной тропе, что вела к водопою, зашевелила бугристыми ветками-отростками... обыкновенная колючка. Коричневая колючка, в рассеянности посаженная художником на самой середине тропы. Она вроде как шевелила сейчас ветками с острыми шипами и прямо на глазах взрастала, занимая всю тропу. Даже кабан, на что у него толстая шкура, и то удивлённо и тонко взвизгнул, наткнувшись пяточком на колючку. И попятился в испуге.

Перестала куковать кукушка, и заяц задробил лапкой в тревоге, и медвежонок, напуганный, засыпал себе глаза песком, и шмель присел на красном пионе, сразу двумя лапками удивлённо потирая себе затылок.

Озадаченный пёс Атилла тоже сунулся носом к картине, но укололся видно и, по-щенячьи визгнув, отошёл на своё место.

– Вот так-то лучше – и лежи, где положено, нечего собакам разгуливать, где не положено, – скрипнула Колючка. – И маленьким девочкам в лесу нечего делать, глазеешь тут. Сиди в кресле и жди, пока я тебе дела не придумаю...

Глашке ничего не оставалось, как подчиниться: что же делать, если даже такой солидный и храбрый пёс спасовал.

А Колючка, ощутив свою власть, уже всюю распоряжается на тропе.

– Ты же недавно пил, толстокожий грязнуля, – говорит она кабану, всё ещё нерешительно стоящему рядом. – Иди, занимайся делами.

– Я не грязнуля, – обижается кабан. – И мне надо войти в воду: там для меня камыш вырос.

– Ничего, вода здесь не для того, чтобы кабаны по ней хлюпали без толку. А тебе незачем зря куковать, лучше б полетела да узнала, как растут твои дети, – упрекает Колючка птицу.

– Они хорошо устроены, у них воспитатели очень заботливы, – оправдывается кукушка.

– Надо бы им подсказать, чтобы построже держали птенцов, а то так из кукушат вырастут такие же бездельницы кукушки, – вслух, будто она здесь одна, думает Колючка.

– Но ведь кукушки нужны деревьям, они самых вредных волосатых гусениц поедают, – пробует заступиться Глашка.

– Маленькие не должны возражать взрослым. Старшие всегда лучше знают, кто кому полезнее. Не так они и нужны, эти длиннохвостые, с толку лишь сбивают своим кукованием: я здесь загадала про себя, а она и полпраза не гукнула! Вы все теперь должны почитать и слушать меня, раз я здесь поставлена порядок соблюдать.

– Никто вас для этого не ставил, – пробует возражать девочка. – Пока вас не появилось, было тихо и красиво...

– Это зачем же меня посреди самой тропы посадили, сможешь ответить? Вот и помолчи. Ты, как я вижу, недобрая девчонка, и везде мешаешься – недаром моя сестра сегодня проучила.

От такой несправедливости даже кот зашипел и спрыгнул с дивана, однако подойти близко не решается, только успокаивающе трётся о Глашкину ногу: не расстраивайся, мол...

Колючка кота даже вниманием не удостоила.

– Так вот, раз меня здесь поставили, значит, я должна за всеми следить. Здесь был полный беспорядок. А вы меня слушайте, если хотите к воде подойти. Очередь установим, – принимается Колючка всеми распоряжаться и, как сказала, руководить. А что поделаешь – и вправду не пустит. Может, так и в самом деле положено. Здесь, на водопое, звери не привыкли спорить и ссориться.

Один красавец-олень постоял-послушал, да и перешёл на другую сторону реки, благо ноги длинные. «И рук-то нет, не то что головы, а туда же...» – бормочет на прощанье.

А Колючка уже совсем разошлась: тому царанину, тому занозу, того скрипом голоса доймёт.

– Не убегай, косой, а то больше сюда не попадёшь вовсе. Скажи-ка, что умеешь, лопухий?

– Я?.. – Заяц растерянно оглядывается на всех. – Н-не знаю... морковку копать.

– Зато я знаю! Ты не посматривай на того рогатого, он шибко умный, думает. Так никуда ведь не денется, вернётся. А ты, косой, хочешь к воде подойти – окопай-ка вокруг меня тропу – натоптали, понимаешь, а я сиди теперь в такой жёсткой земле!.. Вот так, теперь можешь минут пять у речки побыть, умыться. Да не плещись попусту, знаем вас! – Кажется, что после зайкиных усилий Колючка ещё вширь раздалась.

А зайцу уже не хотелось ничего, и он юркает в кусты.

– Тебе тоже дело придумала, – скрипит Колючка кабану. – Нечего на меня пялиться, мимо не пройдёшь. Во-он от того дерева, где кукушка сидела, на меня тень падает. Подкопай-ка с одной стороны у корней, я медведицу заставлю с другой поднажать.

Колючка между делом колет подошедшего близко медвежонка.

Тот верещит и бросается к матери. Но медведица не решается возражать, только прижимает сына к себе, успокаивая.

– Но здесь мой дом! – прячется и вновь выглядывает встревоженная белочка.

– Ничего страшного, только о себе думаешь, а ты не одна здесь. И скорлупу не расшвыривай!

– Но у неё там бельчата маленькие, – напоминает Глаша.

– Новое дупло найдут, вон дрозд к зиме улетает, пустит пока... Моим родственникам тоже солнце нужно, а вы здесь топчетесь!

И Глаша видит, как увядает красный цветок, на котором сидит шмель. Потому что рядом проклюнулась новая колючка. И ещё несколько, пока ещё не таких значительных, как первая, разбегаются по тропе почти до самого песка у воды. Теперь уже и главная Колючка чувствует себя со-всем хозяйкой.

– Хватит на сегодня, – скрипит она. – Мне тоже отдохнуть нужно. Расходите все. И тебе пора домой, девчонка! А ты, медведиха, не будь дурой, отпихни этого кабана с тропы.

Кабан, который уже готов был подрывать дерево белки, послушно поворачивается уходить, медведица высматривает, как бы ей с медвежонком пройти, не задев колючую семейку. А косулёнок жалобно зовёт маму-косулю.

И кто знает, что ещё натворила бы назавтра Колючка у мирного водопоя.

Но здесь радостно пролаял Атилла, трещит онемевшая было сорока Зинка.

Вернулся художник.

– Вытри ноги, когдаходишь в дом! – приказывает ему Колючка.

Художник сначала очень удивился – откуда на картине взялась такая зловредная Колючка? А там, дальше и вокруг неё, ещё новые под-

растают... И всё вспомнил: как говорил по телефону, как машинально рисовал на тропе. И всё понял, потому что хорошо знал, как быстро они плодятся.

А на водопое у водопада – он теперь хорошо видит – уже нет спокойствия и гармонии, и красота увядает – всё перекошено оказалось в картине.

– Спасибо за напоминание, – улыбается художник Колючке.

И в самом деле – что толку спорить с глупостью и чванством, их надо бы просто не слушать. Да-а, скажут, а если они – на тропе?

– Вот только у вас здесь ещё одного животного не хватает...

– Вот видите, – Колючка обводит всех торжествующим взглядом, – не я ли говорила, что не зря здесь поставлена и расту!

– Не надо больше никого, дядя Володя! – пугается ещё за одну жертву Глаша. – Она же и его...

– А ты ещё мала, повторяю, чтобы нас судить, – перебивает Колючка.

– Знаю, знаю, – улыбается художник. – Наша вина, нам и спасать мир, не то сплошное лакейство разведётся.

Он берёт пастель, о чём-то думает немножко, прищулив глаз, потом ещё два цвета, вот – коричневый, чёрный и жёлтый – и рисует... не догадалась? – Верблюда. Как и положено: буро-коричнево-жёлтого, правда, с одним горбом – дромедара.

Девочка смотрит на руку художника снизу, а Колючка даже вытянулась вся, чтобы разглядеть. Другие звери тоже незаметно посматривают – тесновато становится у речки.

– Нет-нет, его – убери! – приказывает Колючка.

Верблюд задумчиво смотрит куда-то далеко – может быть он видит свою пустыню, где есть простор и свобода? Кажется, ему никакого интереса нет ни до тропы, на которой он оказался, ни до падающих в омут струй, ни до растерянных зверушек возле колючек, ни до главной Колючки.

– А почему он такой грустный? – спрашивает шёпотом девочка.

– Да он просто голодный.

– Нет... Прочь! Я жаловаться буду...

Верблюд же встряхивает горбом и всё так же задумчиво и неторопливо начинает свой обед, или уже ужин, с этой самозванной повелительницы тропы. И остальных её родичей.

– Я думал, она вкуснее – такая-то важная, – бормочет верблюд. – А больше мне здесь и нечего делать, разве что попить на дорогу. – Он оборачивается к дяде Володе, в углу рта ещё торчит последний отросток так напугавшей всех Колючки.

– Пожалуй, ты прав, – соглашается художник. – У каждого свой мир, и не будем этому мешать жить. Удачи тебе там и полных колодцев на пути.

Он берёт мягкий ластик и осторожно, чтобы не нарушить восстановленного покоя, стирает дромадера – ведь этому верблюду надо побывать ещё во многих других местах, где вырастают колючки.

– Уже вечер на водопое, – напоминает Глаша своему другу.

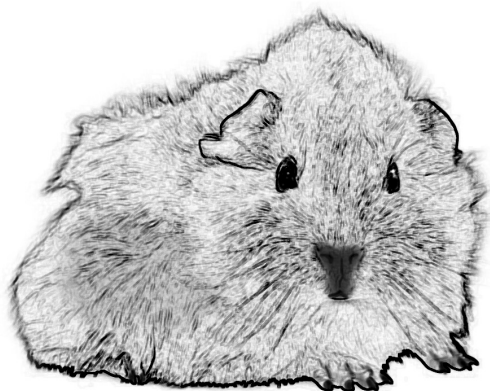
– И ты права, – соглашается художник.

Несколько движений руки с ластиком и пастелями делают картину ещё красивее: солнце катится за гору и прощально шлёт сонные малиново-голубые лучи. И все звери будто меняют окраску, даже чёрно-жёлто-полосатый шмель становится немножко розовым и чуть голубоватым...

– А как же голубая собака? – вспоминает девочка. – Её приняли?

– Может, и приняли бы, – отвечает художник. – А может и нет. Только не донёс я её до выставки – подарил я ту голубую собаку.

У КАЖДОГО СВОЁ МОРЕ...



БЫЛА ДА ЖИЛА морская свинка. В картонной коробке. Хорошо жила: в углу у неё всегда стояла чашка с чистой водой. И блюдце стояло – с разной вкуснятиной: то кусочек яблока, то морковка, а то и печенье окажется. И дно коробки устелено мягкой ватой. В вату можно и вообще закататься – это если спать хочется.

В общем, тот ящик был её домом. И было свинке там хорошо.

– Это морская свинка, – сказали однажды.

Так её не впервой называли, ничего особенного. Но здесь...

– Ха-ха! Какая же она – «морская»?! Небось, даже и плавать-то не умеет. Да видела она море хоть разок?..

– Лучше бы имя зверушке придумали... То-олстуха!

Здесь уж вовсе обидно стало морской свинке. Она ведь не знала, что предки её во всех морях и океанах побывали. На кораблях, правда. Моряки увидели когда-то добродушных и безобидных зверьков в Южной Америке и стали брать свинок с собой в плавание. Всё веселее, да ещё детям живой подарок привезти можно...

Но наша морская свинка подумала: «В самом деле! «Морская», а моря я не видела... Интересно, какое оно?..»

И надо же, как повезло ей: сел на открытую форточку скворец. Он и раньше к морской свинке заглядывал: в окно его скворечник видно на дереве-клёне. К осени листья на дереве разноцветными становятся: красные, жёлтые, оранжевые. Тогда скворец исчезает. Но сейчас – лето...

– Ты дорогу к морю знаешь? – подняла морская свинка свой чёрненький нос к скворцу.

Тут-то, в этот-то самый момент, и решила она добраться до моря. «А плавать я и по пути научусь!» – решила свинка про себя.

– И даже за море знаю! – подпрыгнул на форточке скворец. И размечтался: – Летишь всё прямо...

– Я же летать не умею, – напонила ему морская свинка.

– Да... неудобно жить, – покрутил головой птах. – Как бы тебе объяснить... Да вот, смотри!

Скворец влетел в комнату и сел на большой шар. Красивый – разноцветный шар. Птица засеменила на месте жёлтыми лапками по шару, только коготки зацокали:

– Сейчас я тебе на глобусе море покажу!

– Ты хорошо глобусишь, – похвалила свинка скворца. – На этой... штуке и к морю докатиться можно?

– Да нет! Это вся-вся земля такая! Как глобус! Только больше, во сто тысяч раз больше, вот! И всё здесь видно, смотри: голубое – это море...

– А-а, – догадалась свинка. – Как много здесь моря! Потому такой шарик «го-лу-бос» и называется?

А сама подумала: «Возьму-ка я этого скворца с собой к морю!».

– Глобус называется. И не поэтому, а потому что... глобус, и всё! Не мешай, а смотри, – прицокнул на неё скворец. – Вот коричневое – это горы. Зелёное – видишь? – лес. Жёлтое – пустыня. Знаешь, что такое пустыня?

– Не-а... Пустое что-нибудь?

– Глупости, везде кто-нибудь да есть. Живут. Вот нитки голубенькие, а ещё капли – речки с озёрами, вода, в общем... Понимаешь?

Морская свинка понимала главное: путь к морю непростым оказывался. Во-он сколько пройти надо: по горам, по лесам, по рекам и долам, по степям да по пескам... А ещё – по дням да по ночам! И всё одной?

– Знаешь, что я сама себе придумала? – лукаво спросила морская свинка у скворца. – Я тебя, пожалуй, с собой возьму. К морю!

И пустились они в путь!

Хоть и думала морская свинка, что нелегко будет до моря добраться – но чтобы так уставать! Так мёрзнуть! Самой о еде думать!.. Коробку ведь с собой не возьмёшь... И блюдечко...

Это улитка может на себе свой домик таскать!

Медленно ползёт улитка, тело у неё мягкое, даже рожки – она ими, как локаторами, всё время опасность улавливает – тоже мягкие. Зато домик-ракушка всегда с ней – чуть что, улитка вся в нём укроется, не каждому врагу по зубам!

Но пришлось и нашей морской свинке улиток попробовать – голод не тётка.

Всё же добрались они со скворцом до гор: горы у них первыми на пути оказались. Где тропинкой, где обочинкой, а где и просто без дороги. Трудно ходить в горах – камней много, а когда по лесу горному идёшь, то и корни толстые прямо из земли под лапами путаются... И холодно – поневоле улиткиному дому позавидуешь! Одно спасает: когда вовсе ночью стыло, друг-скворушка рядом присядет, крылом прикроет. Худо без него пришлось бы!

Зато интересно всё вокруг! Вот однажды под кустом уснули, а рано-рано утром вдруг разбудило свинку бормотание: «урл-ур-лю». Солнце ещё только чуть розовым небо покрасило, а рядом это «урл-урлю-лю». Морской свинке даже показалось вначале, что дома она – так голуби в городе иногда у неё на подоконнике ворковали. Но это были не голуби, потому что вслед за этим негромким бормотаньем вдруг раздалось «чуф-фы». И в ответ, будто кто угрожает кому, – новое «чуф-ф-фы»!

Выглянула свинка из-под своего куста. Оказалось, что куст её как раз на краю лесной поляны. А на поляне той две птицы большие – морская свинка и не знала, что такие бывают.

– Тетерев! – шепнул ей на ухо скворец. – Смотри-и...

Крупные чёрные птицы – явные петухи, они и вели себя, как петухи, – надували шею друг перед другом, веером разворачивали лирообразные хвосты, под которыми посверкивал белый подбой. Чернь на голове отличала зеленью, ещё больше подчёркнутой красными бровями. Косачи явно собирались выяснять свои отношения и ничего вокруг не замечали, кроме противника. То перебежали, то приседали и вытягивали шеи так, что головы почти сближались.

Казалось, что вот сейчас бойцы столкнутся в схватке, и вдруг... В азарте драчуны придвинулись к самому краю поляны, а именно этого ждала ещё одна зрительница: от толстого сука корявой сосны отделилась тень и накрыла одного из забияк, только что угрожающе чуфыкнувшему своему сопернику. Второй тетерев шумно, точно взорвалась ракета, взмыл в воздух.

У морской свинки всё внутри похолодело – это была настоящая опасность. Видно, рысь ждала здесь с самой ночи. И охота её оказалась удачной: мягкое рычание заглушило последний крик несчастной птицы, длинные уши с чёрными кисточками настороженно двигались, пёстрые бакенбарды делали морду хищницы благодушной, однако жёлтые глаза, казалось, замораживали всё кругом ужасом убийства...

Закончив пиршество, рысь долго ещё вылизывала свою дымчатую, с крапом по светлому брюху, шубу, а потом неторопливо и неслышно скользнула в заросли можжевельника.

Морская свинка со своим спутником постаралась побыстрее убраться прямо в противоположную сторону.

Здесь ещё и речка встретилась – ух-х!.. бурлит, несётся куда-то, холодная! Брызги сверкают!

– Как это – куда торопитесь? – удивился вопросу свинки скворец. – Тоже к морю бежит. Она в него, в море, впадает... не скоро, правда...

– А потом – выпадает из моря?

– Оттуда уж ни за что не выпадет. Растворится! – ответил бывалый скворец. – Вот по речке пока и пойдем. Только перебраться надо бы на другой берег.

Где по камушку, где и просто по воде пришлось – помог морской свинке через речку скворушка переправиться. Трудно без крыльев!

Но она упорная оказалась, хоть вовсе не приспособлена путешествовать. Толстенная, и лапки маленькие, нежные. С коготками разве что, да что в них толку здесь... Хотя – вот корешок вкусный выкопать вполне может. И плавать, оказывается, умеет. Нет, назад поворачивать и не думает, хоть страшно вокруг.

Только на другой берег ступила – «Ой-о!» – пискнула: глаза-бусинки восторгом-испугом зажглись.

Чуть ниже на речке водопад грохочет. Не так чтобы большой, но всё же – пыль над ним на солнце водяная клубится-переливается. И в этой жемчужной пыли вдруг рыбе серебристое тело взлетело вверх из воды. Да не по течению, а – против потока, снизу вверх чуть не на метр – рыба летит. Даже зависла, кажется, в воздухе – морская свинка тёмные пятнышки на серебристой чешуе разглядеть успела. И жабры, и плавники разглядела, а морда хищная – зубы мелькнули, или показалось? Пролетела и снова ушла в воду – теперь уже выше водопада.

– Форель! – объяснил скворец. – Но ты тоже хорошо плаваешь. А она только в такой воде и живёт: холодной, чистой...

Но дальше, дальше надо бы быстрее, а как – когда лес совсем густой пошёл, морская свинка и вовсе потерялась в нём. Маленькая! А деревья, ох, огромные! Ёлки густые, лапы до самой земли. А под ними – темно-о. Но зато и тепло, никакой ливень не страшен.

Здесь и белку встретили, на рябине сидела. Ягоды уже краснеть начали, красивыми гроздьями сквозь ажурные листья висят. А горькие ягоды – свинка попробовала, ей скворец сбросил веточку.

Белка весёлая попалась. Чем-то и на неё, морскую свинку, похожа. Только рыжая, а хвост длинный и серый. Ушки с кисточками остренькие. Да прыгает так легко: во-от-ля!

Научиться бы самой так!..

Скворец кого-то себе на ужин ловить улетел. И дорогу глядеть.

– Ты далеко ли? – спросила белка с деревянного сучка.

– К морю идём, – с достоинством ответила свинка. – Знаешь, что такое море?

– Ха! – засмеялась белка. – Мне ли моря не знать. Это когда много-премного грибов. Целое мо-оре грибов! – И мечтательно добавила: – Или вот ягод тоже!..

– Море – это откуда я родом, – сказала свинка. И пояснила: – Оно из воды сделано, голубое потому что. Скворец говорит. А ты грибы какие-то придумываешь. Морская свинка я!

– Сви-инка? Ты? – удивилась почему-то белка. А потом застрекотала-захохотала на весь горный лес: – Ха-ха-ха... хи-хи-хи! Ой, держите меня, а то свалюсь – свинка она! Свинка-половинка! Вон недалеко... свинка так свинка ходит... тысяча таких, как ты, в её шкуру влезет! Кабаном зовётся. Пойди-ка, глянь – познакомься с родственничком!..

И ускакала белка, с дерева на дерево прыгая и треща:

– Мо-оре ей подавай! Свинюшка-капелюшка!

«Так я сразу и подумала, что белка глупая. Иначе зачем бы ей такой длинный хвост?» – так решила про себя морская свинка. А когда скворец прилетел, всё же спросила:

– А может, здесь и вправду у меня родственники? Белка сказала...

– Слушай эту трещотку, – буркнул скворец и передразнил белкино стрекотанье. Он ведь по-всякому умел, даже по-человечьи несколько слов знал. – С кабаном тебе ни к чему знакомиться. Страшный, огромный, щетина торчит... Может, вы не очень близкие родственники...

– А хоть и дальние, – заупрямилась свинка. – Всё равно невежливо. Вдруг этот кабан дорогу ближнюю знает... – Это она уже по пути на поляну, куда белка показывала, сказала.

Кабан и в самом деле оказался целой сивой горой! И при этом даже головы не поднял: рыл зачем-то землю под дубом. Рыл-порыл, а после остановился. Хрюкнул задумчиво, пожевал – жёлуди. Они и рядом на земле лежат – и копать вроде ни к чему...

– О-о! – прошептала морская свинка скворцу. – Какой гордый и буркательный! Он и вправду тоже... свинка?

– А какой это – «буркательный»? – справился удивлённый скворец.

Оказывается, и он не все слова знал! Свинка гордо посмотрела – ага!..

– Буркательный, и всё! Вот какой, – показала на кабана. – Ух!

Здесь к серой горбатой махине высыпала откуда-то дюжина поросят. Шустрые, визгливые да ещё и полосатые! Но кабан забурчал недовольно, а на белом клыке, что даже губу приподнял, какой-то корень повис. Страшно. Даже поросята сразу исчезли.

– Здравствуйте! – всё же пискнула свинка чудищу, собравшись с духом.

Кабан не сразу и понял – кто это там. Чтобы увидеть, пришлось ему своим серо-чёрным горбатым туловищем поворачиваться. Шея-то у кабана неповоротная!

«Почти как у меня, – подметила морская свинка. – И вправду, родители мы! Вот только вместо коготков что-то...» Она ведь в городе жила и копыт раньше ни у кого не видела.

– Добрый вечер! – как можно громче повторила свинка. Она уже вскарабкалась на обомшелый валун. – Я – морская свинка!

– Кабан я, – буркнул этот зверь недовольно, разглядев наконец путешественницу. – Какая такая ты «свинка»? И на подсвинка не потянешь!

Здесь эта буркательная громадина с маленькими глазками и страшными трёхгранными клыками на длинном рыле сразу и забыла о маленькой гостье. Упёрся носом в землю. Да как пошёл вперёд – только комья от борозды отваливаются. Он, оказывается, червей выкапывал – лакомство!

На его пути задрожал куст и склонился к земле. Обидно стало морской свинке.

– А ты... а ты!.. – как можно громче крикнула она. – А ты про глобус знаешь? И какое море голубое?! У тебя... даже блюдечка никогда не было! Вот!

Кабан остановился. Растерянно поднял рыло – задумался. О море он не мечтал – зачем ему? Глобус какой-то... Вот он знает, где люди картошку посадили... туда бы!.. да стреляют ведь... А что в блюдечке ему никто пить не давал, ве-ерно... Он взглянул на морскую свинку с уважением.

– Ты откуда взялась здесь? – спросил.

– Откуда-откуда... из дому пришла, вот! – И добавила уже более милостиво: – Так родственников не встречают. Даже люди мне яблоки с печеньем приносят, а ты!..

– Лю-уди? Тебе? – совсем зауважал её кабан. – Занят ведь я. Так, может, мы с тобой родня? Ты куда путь-то держишь?

– Я – к своему морю. От него вся земля на глобусе голубая, вот! Хочешь, я и тебя с собой возьму. Ты хоть плавать умеешь?

У кабана даже голова закружилась: и моря у него не было. Его даже горным не называли или там – лесным... Или хоть бы камышовым, как коты бывают. Тех котов ещё хаусами зовут, хотя они, как и кабаны, в тугаях живут по речкам. Подумаешь – нору барсучью займёт или лисью, да шерстью выстелит, ему уже и имя особое. А они, кабаны, везде живут! И все будто одинаковы: кабан, и вся недолга... Пойти, что ли, с ней?

– Плавать умею... Жёлуди хоть у твоего моря есть?

– Да там каштанов сколько хочешь! Пробовал? – Это уже скворец

сказал. На скворца зверь покосился неодобрительно – несерьёзная птица, всех передразнивает. Даже хрюкать умеет, сам петть не может, так других изображает!

– Кашта-аны... слышал только, откуда пробовать. Мечта-а!

Так они и пошли. Скворец летит – дорогу смотрит и показывает.

Кабан чаще трусцой бежит. Ему любая дорога нипочём – везде проломится! Свинке теперь хорошо, только держись – она на шее секача устроилась, за щетину держится. Кабану что – весу в морской свинке – чуть. Всё бы ничего, да любопытная она очень, будто только на свет родилась! И всех о своём море расспрашивает, будто сами дорогу не найдём. Уж и скворец её успокаивал, ан нет...

Даже ночью. Так хорошо луна светит, жёлто-зелёный свет её, правда, тени обманчивые отбрасывает, но зато – иди себе вперёд, не собьёшься. Так нет: «Кто-то там хрюкает! Может, тоже свинка?..» Сама-то даже хрюкать не умеет, пищит!

– Чего останавливаться, – бурчит кабан. – Дикобраз это...

Хоть шкура у кабана крепкая, а всё лучше подальше от этого отшельника. Вон как он иглами загремел своими, они в лунном свете пестрят, длинные! Ну-ка, хвостом по пятакчу попадёт да иголок своих навтыкает, их ему не жалко – тыщи! И медведь обходит от греха!.. Говорят, даже метать эти свои колючки умеет!

– Какое такое море? – сердится дикобраз на путешественников. – Бродят здесь. Вот пониже спуститься – там море дынь поспевает. Или еще кукуруза... да человек с собаками сторожит. Идите себе!

И скрылся вмиг с глаз. Оказывается, у дикобраза рядом нора была в корнях старой сосны. Неприветливый зверь, а ещё хрюкает!

А утром! Солнце взошло, уже и пить хочется, а вокруг – сушь, холмы без ручейка даже малого! Нашли, правда, лужу – горечь одна, солёной вода оказалась. Как вдруг: «Кря-кир-ря!» Утки. Да какие: золотые! Даже кабан оживился: «Ну, хоть попьём вдоволь. Да и поваляться бы в тине не мешало – день жаркий предстоит!..» Однако скворец их тут же и отрезвил.

– Это же, – говорит, – не те утки – земляные они. Огарь это, а степняки их атайками зовут. Считают, что в них – души предков. Наверное потому, что атайки в могильниках поселяются. Во-он, видите? А вода далеко отсюда...

Прямо на холме в солнечном свете темнела башенка с округлой крышей. А сам холм густо зарос низкорослым шиповником и травой – никаких следов. Это успокоило кабана: значит, люди здесь давно не были, ни одной тропки не видно.

Утки же кружили совсем низко, виден был буро-коричневый ошейник, бело-зелёно-чёрные пятна на крыльях. Покружив, обе атайки сели невдалеке на гладком, словно утрамбованном, бугре. Подобрал под себя

лапки, улеглись рядом, одна другой даже голову с чёрным клювом на золотую спину положила.

... Вскоре свинке встретился ещё лучший строитель, чем сурок. Только сначала повстречался на их пути зверь, который, как и сурки, тоже считал, что море – это бескрайние волны травы до самого горизонта. Мельком удалось увидеть свинке сайгака. Хоть казалось, что кабан быстро бежит, но он оказался тихоходом по сравнению с этой степной антилопой. Вот только что стояло целое стадо, и лирообразные рога янтарно светились, и нос удивлял своим явным желанием стать хоботом, как у слонёнка в сказке – до встречи с крокодилом. Хобота не получилось, но большой нос даже в беге тянул голову сайгака к земле. Но скорости, видно, не мешал – в один миг исчезло стадо степных странных антилоп. Даже сайгачата мчались как большие – пулей. Глянь – и только пыль медленно опускается по следу исчезнувших сайгаков, вечных степных кочевников...

Оказалось, сайгаки пили воду из небольшой речушки, неторопливо пробирающейся по холмистому плоскогорью. Решили путешественники идти по этой речке. Кругом, сколько глазу видеть, трава да трава – вправду будто волны серебристые ходят под ветром. Шли-шли, как вдруг кабан насторожил уши и шумно задышал. Да и свинка уловила в сухом воздухе совсем влажную волну. И засуетилась на жёсткой кабаньей холке: «Не море ли там?..»

Она отгадала лишь частично: впереди была вода, даже целое озеро воды, вовсе неожиданное здесь, а вокруг него уже поднимались молодые осинки и берёзки.

Как попали сюда бобры? Откуда добрались к невеликой речке, почти ручью? Потому что это именно бобры построили на речке запруды и преградили её усыхающий усталый бег. Вода накапливалась у запруды и разливалась в котловине у подножия холмов. Так и получилось здесь настоящее озеро!

Хлоп! – громкое эхо, ровно выстрел, полетело над водой к холмам. И снова – хлоп! Морская свинка разглядела круглую голову с поразительными резцами поверх губ – это бобр плыл к густым зарослям тростника. Он и хлопнул широким, будто лопата, хвостом. Вот это уж настоящие строители: посреди озера поднимался купол домика, а на нём баловались два бобрёнка, стараясь спихнуть друг друга в воду. Свинке и самой захотелось нырнуть, да понимала она, что её-то море должно быть огромным!

– Море? – небрежно отвлёкся бобр, вперевалку выходя из воды и вставая на задние лапы и на свой мощный хвост. Он похрустел белым корешком тростника. – Много ты хочешь... Вот поработай и хоть маленький прудик построй. Тогда мы с тобой и поговорим!

И хлопнул хвостом по воде – нырнул. Только круги по воде!

Много можно чудесного увидеть в путешествии к морю!

Но самой яркой, пожалуй, оказалась встреча на другом озере, уже настоящем. Хотя это озеро тоже разлилось по степи. И так широко, что конца-края не видно. Да и добраться до него оказалось непросто: без кабана свинка ни за что не прошла бы. Но потом оказалось, что и кабана до озера не добраться: надо было пройти по бело-розовой корке, покрывающей болото. А вокруг над затянутым соляной коркой болотом, где под ногами чавкает ил, колышется растопленное солнцем марево.

И вдруг – как во сне! – в этом мареве проплыли в воздухе чудесные птицы. Длинные красные ноги и такая же длинная шея с небольшой головой и тяжелым клювом вытянулись в голубовато-красном воздухе. Бело-розовые перья птиц вспыхивают в солнечном сиянии, а яркие красные и черные пятна машущих крыльев кажутся вспышками самого солнца. Вот одна птица спустилась невдалеке, спокойно оглядела прищельцев, опустила клюв в полынью среди ила, процеживая воду через свой замечательный клюв. Потом ей пришлось разбежаться, чтобы снова подняться в воздух. Вновь пожаром вспыхнуло на солнце её ожерелье.

– Это фламинго – птичий верблюд! – засмеялся скворец.

Морская свинка вовсе и не знала, кто такой – верблюд. Но пришло время увидеть ей и настоящего верблюда. Ш-шу-у-ух!– пробирались они с кабаном по камышам, только шелест позади оставался. И речку ещё одну переплыли.

Ш-шу-у-ух!.. Становилось всё жарче, и под копытами кабана начал шептаться песок. Днём было так жарко, что и выносливому кабану тяжело. Жарко, горло сохнет!

Вот здесь-то и встретили настоящего верблюда. Два горба у него, и вправду – чем-то на него фламинго похож! Только гоняет верблюд во рту жвачку – настоящую колючку жуёт. С такой и кабана не справиться, хоть и голоден сильно.

Взгляд верблюда где-то за песчаными волнами теряется. Скворец ему на горб сел, так верблюд даже глазом не моргнул.

– Попить бы, – прохрипел кабан. – И зачем меня-то к тому морю...

– Вот вам море, – качнул верблюд изогнутой шеей, и свинке показалось, что взлетит сейчас этот нелепый громадный зверь над песками. А тот на них так и не смотрит – всё вдаль...

– Море ведь голубое, – сипло сказала свинка. Она тоже пить захотела смертельно. – Это когда много-много воды...

– Да? – Верблюд даже глаза прикрыл от возмущения. – Вода только в колодцах бывает. И много её быть не может! А море – жёлтое! Сами видите – море песка. Ещё немного... там колодец... напьётесь. Ишь ты! Много-много! Её вытоптать надо, водичку-то...

– Здесь не живут. – Кабан расстроился – так в жару ему плохо.

– Как не живут? – обиделся верблюд. – А вот он что? Он здесь, наверное, миллион лет живёт! Он не страшный. Он страшно древний!

Это что ж за чудовище смотрело на них? Свинке даже вмиг холодно стало от пристального немигающего взгляда. Даже скворец, кажется, съёжился. Из-под бархана на них и впрямь глядело чудище – варан. Язык его опасно вылетал изо рта и вновь прятался за страшными зубами. И для свинки, будь она не на горбе кабана, встреча с этой громадной ящерицей могла бы оказаться ужасной... Она каждым волоском почувствовала это.

А верблюд и вовсе отвернулся. Видно, неинтересны они ему стали. Опять взгляд его куда-то за барханы уплыл, потерялся. Что он там высматривал? В желтизне той жгучей?

– Мираж! – пискнул скворец.

По небу... текла река. Кабан даже несколько шагов сделал – вот туда бы: к реке в небе, к садам на её берегу!.. Неужели так – всем одинаково – кажется?!

– Идите! И не останавливайтесь! – предостерёг верблюд.

Колодец им и в самом деле скоро попался. Напились, кабан ещё долго на разрытом песке лежал – влажно, вода снизу песок питала. Он бы дальше и не пошёл, да какая в этом верблюжьем море жизнь?!

– Почём вы знаете, какое море настоящее? – ворчал кабан в дороге. – У верблюда – своё жёлтое море... чуть кровь не закипела! Белке вон хорошо, когда море ягод с грибами... это бы и мне сейчас не помешало! Сурку вон своё море подавай, волку, небось, тоже своё снится... Может, кому море снега нравится?

Пока ворчал-бурчал, всё шли. И дошли ведь наконец.

– Вот – море! – подлетел однажды к своим спутникам скворец.

– Где, где? – заволновалась морская свинка.

Нос её учуял какой-то удивительный дух, ушки шум различили: «У-ух... ах-х... Ш-шу-ух!..»

– Так это же небо там?

Кабан молчал – притомился. Просто пошёл вперёд. И уже совсем близко подбегала к ним волна. Подбегала – и откатывалась, шепча: «Ух-с... сшта... у-у... шта-ли-и?».

– Устали, спрашивает? Ещё бы! – Кабан принялся пить растёкшуюся у самых его копыт воду. Но тут же и заверещал: – И это – твоё море?!

Морская свинка испуганно смотрела вперёд: конца этому морю не виделось. Она тоже глотнула – и будто микстуру выпила. Го-орь-ко!

– И здесь жить нельзя, у твоего-этого!.. – уже бушевал кабан.

– Ну почему же нельзя, – слышалось невдалеке. – Ведь я же живу! И других много живёт в море – не жалуемся!

Недалеко от берега в волнах показалась круглая усатая улыбающаяся мордочка.

– Не знаете? Тюлень я. Каспийский! – Чёрные глаза его дружески смотрели на гостей.

«Стоило ли такой путь проделывать?» – думала морская свинка, всё ещё ощущая горечь воды в горле и ещё большую горечь разочарования в сердце. Затосковала она перед таким огромным водоёмом, которому конца-края нет.

Стоило ли, в самом деле... каждый пусть сам рассудит.

– А всё равно красиво... – грустно сказала всем на берегу морская свинка.

Да, грустно. Потому что ей захотелось домой. В свою коробку, выстланную ватой. К своему блюдечку, в которое наливают свежую воду или кладут яблоко. И вода в питьевой ванночке никакая не солёная. А кабан этот никакой ей не брат!

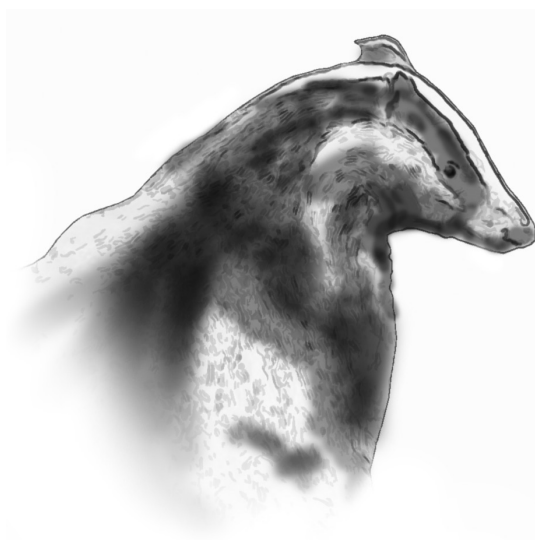
«Как же мне назад добраться? – думала морская свинка, стоя на берегу моря. – Наверное, я и вправду не морская».

Впрочем, это уже другая история.

Только один скворец пел радостную песню: ему совсем немного осталось до теплых краёв, где можно перезимовать. Наверное у него тоже было своё море.

ПРИЗРАК

Дочери



ТОЛЬКО уехав из города в горы и став егерем, я понял, как много у меня друзей и знакомых, страдающих всякими недугами.

В моду вновь входила «народная медицина», во всех аптечных киосках разбирались травы, всякий уважающий себя «интеллигентный» человек старательно записывал новые рецепты целительных чаёв, что заменят всю аптечную «химию». А на рынке городские бабки шаманского обличья бойко распределяли кучки разлохмаченных ко-

решков... Так что, «приблизившись к истокам», а то даже и к «корням», по убеждению друзей, от большинства, если не от всех, болезней исцеление мог принести лишь я.

Летом с переменным успехом, срываясь со скал и пугая кекличьи выводки, разыскивал я мумиё. Ближе к осени – под оживлённую сорочью трескотню перекапывал землю в забытых людьми и скотом местах в поисках родиолы-розовой, то бишь «золотого корня».

Но главные заказы приходились на сентябрь. К этому времени барсук уже успевал набрать жир, и на него открывалась охота.

В первые два года работы мне (а больше – моим страждущим друзьям) повезло несколько раз. Впрочем, «везение» – слово в данном случае не совсем уместное, потому что успешной охоте обязан я был двум привезённым с собой собакам. Они, на первый взгляд, мало при-

способленные к вольной жизни, быстрее всего освоились именно в травле барсука.

Собаки эти: громадный пятнистый дог, добродушный и не любивший драк без особой к тому нужды; и двухлетний задиристый доберман-пинчер, нередко получавший хорошую взбучку от своего рослого терпеливого приятеля, которого доберман умудрялся-таки порой довести до бешенства своим постоянным приставанием.

Однако никакая выволочка не делала добермана терпеливей или покладистой. Разве что – хитрее: когда приятели попадали в свору чабанских собак, доберман обязательно доводил дело до драки, не без основания ощущая защитой своей спины и тонкой шкуры массивную фигуру и мощные челюсти дога.

А чтобы ещё больше подзавести хладнокровного великана, которому даже самые крупные разношёрстные аборигены едва доходили ушами до лопаток и на которого они, уж конечно, сами никогда не решились бы напасть, лукавый, с лисьей улыбкой на морде доберман попросту исподтишка хватал своего надежного приятеля клыками за ляжку или хвост (у самого задиры хвоста не было с детства!) – как удастся, лишь бы незаметно. И ведь всегда получалось!

Правда, надо отдать ему должное: когда начиналась свалка, им спровоцированная, хилый рядом с догом, но зато стремительный и упругий, словно хлыст, умудрялся он нанести ударов больше всех. И везде успевал. Клыки же у него не меньше договых. И никогда доберман не поворачивался задом, впрочем, как ни странно, ему всегда доставалось меньше всех, особенно в той «куче-малой», что любил он устраивать.

Виделся только сплошной клубок лохматых тел вокруг дога, над которым изредка с визгом взлетала на воздух собачонка, да мечущееся змеевидное тело чёрного пинчера.

Потом клубок распался. Чёрный вертлявый бес на горле какой-нибудь особо невезучей шавки разжимал челюсти в ответ на пренебрежительное рычание дога, уже отправлявшегося домой. Справедливости ради надо добавить, что великан никогда не доводил в таких свалках дела до крайностей.

Зато не так произошло с первым нашим барсуком, за которым я и не думал охотиться. И которого оба моих пса-горожанина до той поры не видели даже на картинке.

Странную ненависть питают все собаки – абсолютно все, до самой последней дворняжки – к барсучьему племени. Почему? Сталкиваться в природе им приходилось очень редко: барсук зверь угрюмый, одинокий, ночной. Очень осторожный зверь, вблизи посёлка его никогда не встретишь. И нельзя сказать, что зверь беззащитный, слабый, что он лёгкая добыча для собак: не однажды даже и звероватые лайки в своре

получали жестокий отпор. От ночного столкновения с ним многие мои знакомые собаки и сейчас носят на память такие шрамы, которые невольно внушают уважение к противнику, их оставившему.

При подобной ненависти беспричинность её ещё более удивительна потому, что ни одна из собак, будь она трижды голодна, не станет есть барсучьего мяса. Может быть, думал я, они – родственники? – Но нет: барсука по характерным признакам отнесли к семейству куньих.

Вот разве что, вопреки установленной людьми (не барсуками ведь и не псами!) традиции, барсук хоть каким-то боком, пусть «троюродным», породнён с нашими шавками? И они, может быть, злы на него за какую-то прошлую измену своим «родичам»? И поедание его мяса считается у собак каннибализмом?..

Как бы там ни было, но что было – то было: пришлось мне однажды ночью ехать по горной тропе, которая виляла между холмами, просачивалась в узкие осыпающиеся щели, карабкалась по каменистым склонам. Торопиться было некуда, осенняя ночь достаточно долга для спокойного пути, а полная луна сообщает дороге сказочно-серебристую умиротворённость. И я отдал повод и всю волю своему молодому, но осторожному в горах коню.

Собаки бегут впереди. Белый мой великан изредка вспыхивает в лунном свете на тёмных склонах; чёрного же пинчера можно лишь слышать, когда он, спугнув зайца, с довольным лаем и восторженным повизгиванием гонится за косым.

Но вот впереди слышатся совсем другие звуки, идут они из чёрной щели, в которую не добрался ещё лунный свет. Низкое рычание дога разрывает нервическое сопрано добермана, и в эти знакомые возбуждённые голоса вмешивается чужое хрипение, почти хрюканье.

Взяв повод, я подскочил с конём ближе, но увидел лишь смутный клубок сомкнувшихся тел. Вот тот, на кого напали мои псы, вывернулся, несколько кособоких шагов – и он ныряет в ближайшую нору. На его несчастье – я уже понял, что это барсук, – нора оказывается сурочьей, да еще и не очень взрослого сурка.

И тонкий пинчер, не обращая внимания на мои призывы-приказы, умудряется-таки схватить новоявленного врага за шиворот и вытащить из норы. Вовсе немного вытащить, но всё ж достаточно, чтобы ухватился дог. И вот невезучий барсук, никак не ждавший нападения здесь, вдали отар или пасущихся табунов, взлетает вверх.

Рычат собаки, молча пытается в последнем усилии отбиться зверь, у которого на шее снова висит пинчер, теперь уже не разжимающий челюстей. Приходится прекратить бесполезную борьбу. Но лишь убедившись в неподвижности барсука, собаки мои отходят, не переставая, впрочем, глухо рычать.

Доехав до елей, я расседлал коня, которому необходимо до утра хоть

немного попасть, сам залез в спальный мешок. Как обычно, рядом со мной привалился к боку дог, на ногах клубком свернулся доберман. Их смутное ворчанье изредка разбуживало меня: оба во сне продолжали переживать прошедший бой, то ли ветер наносил на них запах поверженного врага, мешок с которым висел на дереве...

Так был привязан к седлу наш первый барсук, и первые страждущие мои знакомые получили спасительный «эликсир» – топлёное барсучье сало.

Прошло ещё два года...

Честно говоря, мне вовсе не нравится травля барсука. Не потому, что я противник охоты, не только, нет – мне неприятна предрешённая охота. Мне вовсе не по душе видеть увешанного псами кабана, которого дорезают, словно на бойне, рискуя разве что одной-другой дворянжкой из своры, случайно набранной по околицам.

Само слово – травля, тр-р-равить – кажется, вобрало в себя всё неестественное и противное природе, что внёс в свои с ней отношения самоуверенный человечек, расстреливающий с зависшего над степью вертолёта уже никуда не убегающего волка. До кого не доходит зловещий смысл этого слова, тот пусть представит себе выхваченные пронзительной фарой из темноты сотни доверчивых, растерянно фосфоресцирующих глаз сайгаков, по которым палят из автоматических ружей заготовители. Да, соглашусь, надо «заготавливать». Но мне это не нравится. Так и слышится за словом «травля» запалённое дыхание преследуемого, которого сейчас начнут топтать ногами преследователи, объединённые в толпу собственной своей слабостью и круговой безответственной жестокостью...

Впрочем, прошло два года, в которые не однажды приходилось приторачивать к седлу добычу, найденную уже совсем освоившимися с охотой и горами догом и доберманом, на шкурах у которых барсук порой оставлял свои следы. И на эту осень мне вновь нужно было добыть хоть одного барсука с его целительным жиром...

Но моих помощников уже не было.

Почти год как таинственно исчез доберман. Весной, чуть не дожив до семи лет, в пять дней от воспаления лёгких сгорел дог.

Их весьма условно заменила молоденькая собачонка, обещавшая стать овчаркой, но этого обещания не выполнившая. Она была взята для ночного лая, чтобы давать знать о присутствии «сторожа» лисам и чужим бродячим псам, которые прежде и близко не решались подходить к кордону.

Но собачонка та ночью забивалась в конуру и притихала до утра. В это время голодные пришлые собаки со всей округи могли спокойно пожирать в роднике хозяйский суп, съесть запасы масла, привезённые хозяином из города, вытаскивать из вкопанного для холода бидона мясо... Бродяги были осторожными: хозяин, если не отсутствовал, спо-

койно спал, надеясь на сигнальный лай; а собачонка молча ждала вмешательства в этот ночной пир хозяина. Или – также молча – доедала остатки, что не успевали проглотить ночные пираты.

Шёл конец октября. Было новолуние. Так темно было, что нельзя увидеть пальцев собственной вытянутой руки. Наверное, только в горах на юге и бывает такая темень. На «барсучьем заказе» этого года я поставил крест: несколько попыток, ещё в светлые ночи, выехать на барсука с новой собакой, кончились ничем. У этой дворняжки никаких претензий и счетов к барсукам не было.

Меня не столько огорчала неудача охоты со жмущейся к ногам коня шавкой, сколько бередило невольное воспоминание об утраченных друзьях – доберман-пинчере и, конечно, особенно о доге, на которого во всём можно было положиться и которому можно было смотреть в глаза, как человеку. Утрата всего острее колет в такие вот чёрные безлунные ночи, когда тишину лишь чуть колеблет звон подков...

И ко всему ещё появился призрак.

Нет, он появился не в доме – откуда в жилом доме взяться призраку? И он не был страшным – время страшных привидений давно прошло. Скорее – огорчительным. И – как и положено призракам всех времён – непонятным.

Правда, призрак тот не посчитался поначалу ни мной, ни четырёхлетней моей дочкой привидением. А жена оказалась в отпуске.

– Лиса, – сказал я.

– Ты мне поймаешь её? – утвердила догадку дочь.

Дело в том, что по утрам мы с ней вместе кормили свою живность: дочь потчевала кур, индюшек и кроликов, заодно собирая яйца и пересчитывая новых крольчат, я обихаживал коня и собак. Порой бывало, что из нас никого не оставалось дома дня по три, тогда вся живность ходила на воле, грызла и клевала засыпанный впрок корм. И ничего не случалось неожиданного.

Нынче же, при закрытом с вечера курятнике, произошел форменный погром. Словно кто-то распустил несколько пуховых подушек, только теперь... ведь в подушках не бывает зарезанных и еще теплых кур. А они – ровно десять и еще молодой петух с ними – беспорядочно валялись под насестами, на которых, нахохлившись и не желая вылетать, сидели их более счастливые подруги. Лишь наседка суетливо квохтала: видимо, пыталась объяснить нам и себе, куда же делись её двенадцать уже взрослых цыплят...

В углу курятника, почти у самого входа, мы увидели нору. «Лиса, – решил я, – хорьков у нас не водятся». Оседлав коня, я поехал по пути стелющихся на земле перьев, но уже метров через пятьсот ни перьев, ни иных следов не осталось.

– Ты поймашь мне лисичку? – снова спросила меня дочь, когда мы с конём вернулись. – Я за курочек поставлю её в угол!..

На следующую ночь я оставил всё как было. И поставил две стальные петли в сарае у норы. Лиса не пришла в эту ночь. Пришла в следующую. Только это была не лиса.

– Жок тульке, – сказал подъехавший ко времени чабан, осматривая новый десяток жертв, валяющихся с новым петухом рядом с прежними. – Жок тульке. Ит*...

Я и сам понимал, что не лиса: петли порваны, что рыжей уж никак не под силу, но и они не остановили грабителя, не заставили повернуть, больше того – одна из кур наполовину съедена прямо здесь же, в сарае. Действительно, собака? Тогда понятно, почему не тронутыми ни в первое, ни во второе нападение оказались четыре индюшки: в ближнем посёлке держали индюков, могло сработать хозяйское табу. Но... что ж, собака, так собака. И я убрал порванные петли. И целый день катал валуны, укрепляя ими основание сарая во избежание нового подкопа. И убрал следы разбойных налётов, потому что оставшиеся птицы все эти дни не желали сходить с насестов...

Ночь следующая прошла без происшествий. Последний петух важно водил оставшуюся дюжину кур, видимо, чрезвычайно довольный исчезновением конкурентов.

Однако и петух, и его хозяин успокоились рановато: с педантичностью бюрократа *Оно* появилось всё так же через ночь. И так же вновь пересчитало кур до десяти, прихватив и преждевременно заважничавшего петьку. Нора оказалась вырытой, словно в насмешку, под новеньким, самым огромным валуном, который я катил с помощью лома...

Вот теперь-то я осознал, что *Оно* – привидение. Призрак! И мне для борьбы с ним надо придумывать особые средства. Ни святой воды, ни знакомой бабки-ворожеи у меня не нашлось. Лучшее, что я мог придумать – самому превратиться в подобие призрака. Затаиться. Устеречь!..

Дело было уже не в тех двух оставшихся, жалких и навечно напуганных курах. Дело в принципе. И в естественном любопытстве – прежде мне призраки никогда не встречались. У нашей собачонки, по всему, такого любопытства не было: ничем иным нельзя было объяснить упорное молчание во все предыдущие ночи. Не чуют призрака, или хоть шум всполошённого курятника, собака не могла – нора рылась и куры давились в каких-то двадцати метрах от будки! Разве что под сильным снотворным...

– Кто же это может быть? – рассуждала дочка, усаживая в ряд своих кукол. – Лисичку папа нам не поймал, а курочки яичек носить теперь не будут... что мама скажет?

Последний дочкин вопрос, ещё не до конца принятый, начинал и меня беспокоить. Но пока меня интересовал призрак. Понадеявшись

на его педантичность, пропустил я одну ночь и приготовился ко второй. Единственное, что теперь меня занимало: а вдруг *Оно* уже закончило свои проверки, или как это ещё назвать, ведь в курятнике больше не оставалось десяти живых кур, как не было и петуха...

Уложив дочь, надев полушубок и взяв ружьё, я растворился в кусте неподалеку от сарая. Ещё днём на нетронутую нору положил кусок шифера, теперь нисколько не заботясь о запахах, – если уж петли его не остановили...

По-прежнему текло новолуние. Странно, однако мне всегда кажется, что новолуние тянется намного дольше светлых ночей, хотя, конечно, это не так.

Зато каким волшебством является вдруг вынырнувший однажды тоненький серпик на бархатном небе, как растёт он с каждой ночью, всё серебристей обливая светом своим холмы. Итак, лежал я в тёмной темени куста барбариса, стараясь собирать на себя поменьше колючек (ягоды успели обобрать птицы), и подсчитывал, сколько же ещё ждать луны.

Черным-черно вокруг, и напрасно всматриваюсь я туда, где должен находиться сарай, убеждая себя, будто вижу белеющий кусок шифера. Тишину всегда интересно слушать, но если долго вовсе не двигаться, не помогут и противоречивые мысли – тишина успокоит, укачает, убаюкает...

Разбуживает меня всё же именно шелест шифера. Напрасно я потихоньку открываю глаза: с открытыми так же темно. Настолько темно, что становится завидно, когда смотрю вверх – кажется, что там кто-то курит сигарету, далеко-далеко, ту самую сигарету, в которой я себе отказывал, чтобы не порушить эту темень.

А мой призрак уже хозяйски шуршал в сарае. Встревожился он лишь когда завалил я нору тяжёлым ящиком и чуть приоткрыл дверь. И мы начали играть с призраком в жмурки. На слух. Правда, разница была та, что оно, приведение, сразу поняло себя в ловушке. Кем бы он ни был, этот призрак, он попался. И что игра стала вовсе серьёзной, тоже понял.

И, честное слово, мне уже не очень хотелось воспользоваться тем преимуществом, которое подсунил шуршащий шифер и подвластная моей руке дверь. «Курица – птица неодоушевлённая», а здесь сидело нечто, уже сознающее результаты своего действия... Вот только – кто же там все-таки? Да, а ещё ведь: «Что мама скажет?..»

Призрак метался молча и грузно. Трещали ящики-гнезда, они подвешены довольно высоко, и возможности призрака настораживают. В зависимости от места, откуда слышится шум, мне приходится то приоткрывать, то вновь захлопывать дверь. Что там, за дверью, зверь, сомнений не оставалось, но – какой?.. Зверь казался не из слабых, да ещё и загнанный в угол: ему предстояло потерять... все. И, в отличие от меня, он видел в темноте: едва попробовал я приоткрыть дверь, призрак бросался

ко мне, ко входу, а затем вновь царапался к самому потолку, за толевую прочность которого приходилось опасаться.

Не выдержав и слыша настойчивое карябанье под крышей, я обегаю несколько раз вокруг, торопясь и чертыхаясь в темноте. Наконец, приоткрыв дверь и поймав невидимку на шуме у норы в каком-нибудь метре от ружья, оглушаю себя выстрелом. Беспольным выстрелом – мой пират уже настырно дерёт крышу в противоположном углу. Туда, на звук раздираемого толя, летит дробь из второго ствола...

Теперь только слышится хрип невидимки. И падение. И новое царапанье, но уже бесполезное, судорожное. Последнее.

Я зажигаю спичку. Нет больше призрака, исчезло привидение. Но в того, кого вижу, не верится.

Всё более безразличнееющими глазами на меня смотрел барсук. И было три часа чёрной безлунной октябрьской ночи. И не было со мной задиристого доbermana, таинственно исчезнувшего год назад; не было и добродушного пятнистого громадины-дога, не терпевшего драк и всё же вынужденного драться, чтобы выручать друга, – дога, сгоревшего весной от воспаления лёгких, потому что он не мог есть лечебного барсучьего сала...

Было три часа чёрной безлунной октябрьской ночи. Я листал всю имеющуюся литературу о животных, но не находил объяснения подобному барсучьему поведению. А позже охотоведы пожимали плечами: не должно бы. Наверное – примирился я – исключение. Как и моя собачонка, что не чуяла призраков и которую я, вместе с невольным вышнанным заказом на жир, подарил горожанам – она была, в общем, симпатичной и общительной, а что в городе охранять?..

Сейчас у меня другие собаки. И они не молчат ночью, даже если просто трещит на речке лед. И не подпустят к дому чужих. Они непонятно терпеть не могут барсуков. Когда я забываю их вовремя привязать на ночь, убегают порой, чтобы вернуться под утро с высунутыми языками, а то и потрёпанными изрядно. Зимой они спокойно сидят дома – это лучшее, чем подранная шкура, подтверждение, что бегают они по барсуку. Ведь и зимой дичь есть – другая, зайцы хотя бы... Но зимой я за барсука спокоен – он спит в уютной чистой норе и сам тратит свой знаменитый жир по прямому назначению.

Охотиться же на него я по-прежнему не люблю. Даже когда полная луна сообщает дороге сказочно-серебристую умиротворённость. Или – именно потому, что полная луна сообщает дороге сказочно-серебристую умиротворённость, а дорога ночью виляет меж холмами, просачивается в узкие осыпающиеся щели, карабкается каменистыми склонами.

Не люблю я на него охотиться, хоть и необходим тот барсучий жир моим страждущим друзьям. Не люблю по-прежнему, несмотря даже на то, что и барсуки порой становятся призраками. Или – именно поэтому?..

«...ПО ТУНДРЕ ПУТЬ ПРОКЛАДЫВАТЬ»



...ЧАСЫ на стене бьют пять раз. Я знаю – после такого боя приходит мой Зотов. Хозяин.

Динь-раз-бом-два-динь-бом-три-четыре.

Бом-м. Пять...

Хозяин? – Люди так и называют его: «хозяин овчарки и кота». Нам с Васькой он – друг.

И не только потому, что мы ему тоже нужны, каждый кому-нибудь нужен, каждому кто-то нужен. Георгий Борисович Зотов нам с Васькой родной. Сколько мы с Васькой себя помним, он нам говорил, приходя домой: «Здравствуйте, родные мои!».

Вот уже месяц Зотов приходит домой молча. И только поздно, когда уже стемнеет, он сядет иногда возле Васьки на

диване и шепнёт: «Не везёт нам с вами, родные...».

Бом-м-м. Пять.

Мне столько же лет, сколько ударов сейчас пробили часы. Совсем недавно к нам приходили чужие люди, совсем незнакомые, и потребовали, чтобы Георгий Борисович закрыл меня на время разговора в другую комнату.

– Он не тронет... Никого при мне не тронет... без команды, – сказал Зотов. – Ему уже пять лет, и никого он зря не обижал.

– Кто знает, что там на уме. Это же собака – не человек, – неприятным голосом сказал кто-то из чужих.

Он так неприятно говорил, громко, и даже палец поднёс к лицу Зотова, что я зарычал. Негромко, чуть-чуть прорычал, чтобы предупредить: я ведь охраняю его. Потому зарычал, что чувствовал, как эти чужие люди хозяину неприятны. Он болеет последнее время, а здесь вот побледнел от шума ненужного.

– Вы правы, собака – не человек. А что у неё на уме, если вам интересно, могу объяснить, – тихо сказал он.

Я хорошо знаю, когда Георгий Борисович сердится на меня, на Ваську. Хуже всего, когда на себя сердит: молчит, графин на кухне достаёт, от него тогда даже пахнет неприятно – молчанием. Плохо ему сердиться. Поэтому я снова потихоньку зарычал. Чтобы тот человек не кричал на Зотова.

– Я вам сказал – убрать собаку! – Даже Васька, которому сейчас всё равно, вздрогнул от этого чужого крика. Вздрогнул и зашипел. Я посмотрел на хозяина, но он стал спокойнее.

– Это ведь мой дом? Уходите вон из квартиры, – сказал спокойно Зотов. – Уходите. Джим у себя дома.

– И за это ответишь! – крикнул вместо «до свидания» чужой.

Мне пять лет. Зовут меня Джим. «Дай, Джим, на счастье лапу мне!» – говорит порою Георгий Борисович. Лапу я ему даю, хотя больше всего мне тогда хочется его лизнуть. Или – завыть. Но лизаться мне уже неловко, пёс я совсем взрослый. Поэтому я лишь упираюсь лбом Зотову в колени. И мы вместе молчим, если Васька сюда же на колени не вскочит. И не заставит Зотова рассмеяться. Потому что Васька редко понимает наше настроение, он больше привык, чтобы мы подлаживались к нему, а нет – уйдёт. Знает, что наш любимец, и делает, что хочет.

Васька... Смешные у котов имена – неужели нельзя ничего легче придумать? Вась-ка. Ва-с-сь-ка-а. Какими-то углами это отдаёт, подвалом и темнотой. А наш Васька мягкий, тёплый, пушистый. Шерсть у него такого цвета, как дым от сигарет Зотова, только не воняет так противно. Даже глаза у него голубые.

Глаза Васькины... В том-то всё и дело, что лежит сейчас Васька на диване и не видит, как я встаю. Встаю встречать Георгия Борисовича, он сейчас после пяти ударов домой придёт.

Раньше я его на балконе высматривал, а потом уже к дверям бежал. Ваське проще: он с балкона мог прямо на улицу сигануть, раньше меня до Зотова добраться. С перил прыгнет на дерево рядом с балконом, спустится по нему – и, пожалуйста, первым с нашим Георгием Борисовичем здоровается, о ноги его трётся. Ласковый Васька кот, он иногда и о мой бок трётся, когда я лежу. Трётся и мурлычет, бархатно так, тихонько мурлычет, ни слова не говоря.

На балкон я теперь не выхожу. Не люблю я балкон. И прыгать пока

не могу, когда хозяин в квартиру заходит. Правая передняя лапа у меня ещё болит после перелома. И хозяин сейчас в таком настроении возвращается, что мне не до прыжков было бы, будь и здоровой лапа.

Поэтому я ложусь в коридоре напротив двери, голову на лапы передние вытягиваю. Так шаги слышнее и ждать удобнее.

В коридоре свет всегда горит. Это у нашего Зотова привычка такая. Издавна, когда ещё и Васьки не было. Даже когда меня не было. Привычка. Это такое, что не прекращается, всегда в одно время должно быть и на одном месте. Вот ждать Зотова, когда часы пять раз ударят, – моя привычка, есть тоже в одном месте – у меня привычка. Если переставится миска, никакого удовольствия от еды. Беру и сам подтаскиваю на место.

Я того времени не помню, когда меня не было. Не понимаю, что такое: «Джима ещё не было». Сколько я знаю Георгия Борисовича, столько я и был. Вот без Васьки я помню – были мы с Зотовым.

У нашего хозяина две такие привычки: уходя, он обязательно в коридоре свет включает и радио делает, чтобы оно говорило. Иногда я забудусь, если музыка долго играет. А потом заговорит голос чужой – кажется, в квартире кто-то есть. Зарычу, и тут же вспомню – радио.

– ...Всё те же у тебя привычки! Свет в коридоре, радио бормочет, – говорит Александр Степанович, когда вдруг появляется у нас.

Появляется он редко, а знает Зотова давно. Ещё «когда Джима не было». Он друг хозяина, но я не люблю, когда он бывает. От Георгия Борисовича тогда пахнет неприятным молчанием, графин из кухни переносит он в комнату и долго не убирает. На нас с Васькой внимания не обращает, покормит да выведет на улицу. Сидят они, не говорят почти, пьют из графина и курят, курят...

– Люблю тебя, Степаныч, – говорит Зотов, когда уходит гость с чемоданом. – Люблю, а нехорошо мне от приезда. И не видеть – не могу, а увижу – так холодно становится, страшно, будто из твоего чемодана сейчас прошлогодний лёд вывернется... А лёд тот, когда на Ладоге растаял... пара не найдёшь.

– Стареем, Георгий. Пора тебе в родной гавани якорь бросать, чем тебе эта жара приглянулась? – Далью разве что... Но от памяти не сбежишь...

– Всё ведь знаешь, а здесь люди добрые, работа с ребяташками – посмотрел бы, какие мои пацаны узлы вяжут, какие шхуны выстраивают!

– Тешишься. Шхуны... Джим вот ещё скажи... И свет в коридоре да радио по-прежнему, чтоб в пустую квартиру-то не входить.

– Ты езжай, такси вон стоит... опоздаешь. Кланяйся там.

– Камням? Ты звони чаще, вдруг адвокат понадобится, так звони – защищу! – улыбается Александр Степанович, а Зотов его в дверь вытаскивает, чувствую, шуточно. А грустно мне.

– И защищать меня не от чего, от старости и сам не защитишься, прощай уж...

Давно в последний раз гостил у нас Александр Степанович, а свет так и горит в коридоре. Привычка. Такое, что не изменишь.

Я лежу в коридоре, голова на лапах вытянутых. И очень хорошо шаги знакомые на лестнице слышу. Вскочить бы, голос подать, хвостом забить от удовольствия и нетерпения. Только шаги такие... медленные. Не могу я всё привыкнуть к этим вот медленным шагам.

...Вчера в сквере Эра, моя знакомая догиня, подскакивает. Играть зовёт, давно мы не виделись, а обычно в одно время гуляем. Но мне не до игры. Зотов сидит на скамейке, курит. С хозяином Эры молчит. И я о том же молчу.

– Что это ты хромаешь, подрался? – Эра меня спрашивает. Ей бы только подраться, она порядочная задира. Молоденькая совсем, вот и носится, задрав хвост. Дома у неё Васька не сидит один, что ей расскажешь...

– Лапу сломал, – буркнул я. И здесь мой Зотов встаёт: «Пора домой, Джим».

– Неудачно через барьер прыгнул? – не отстаёт догиня, хоть и её хозяин давно к себе зовёт.

– Тебе кроме барьера и прыгать некуда. Вон хозяин тебя в который раз подойти просит, – упрекнул я. Не понимаю баловства такого – чтоб по первой команде не сесть у ноги хозяина. Я моего Георгия Борисовича никогда бы так не обидел. – С балкона, – говорю, чтобы отвязалась быстрее, – со второго этажа прыгнул...

С того времени и стали шаги у Зотова медленными. Не от того, конечно, что я лапу сломал, – заживёт лапа.

Людей чужих стало много к нам приходиться. По одному, по несколько сразу. Все, вроде, люди, а называются по-разному: кто «домоуправ», кто «комиссия», кто «участковый»... И все громко говорят, а Зотов мучается, я ведь вижу. А когда я им пробую объяснить, что его нельзя обижать, они ещё громче шуметь начинают, на меня пальцем тычут: «Это ведь собака, у неё и разум собачий, вы гарантируете, что она не может взбеситься?!» Вроде, впервые живую собаку видят.

Конечно, я – собака, пёс. Овчарка. Джим. И никогда мне люди не были неприятны, никогда не был я на них злой. Но сейчас у моего Зотова стали непривычные, медленные шаги. И очень нужная нам с Васькой привычка исчезла. Из-за них, чужих людей.

Когда капитан первого ранга (так его мальчишки называли, их много к нам приходит. А Зотов в ответ всегда улыбнётся и поправит обязательно, хотя чувствуется, ему приятно такое обращение: «В отставке, в отставке ваш капраз!») – так вот, когда входил он в подъезд, он всегда торопился – знал, что мы ждём с Васькой. И ноги его спешили через ступеньки. Сам себе, немного запыхавшись объяснял он порой, что привык торопиться ещё в то время, когда были мы маленькими. Рань-

ше ведь я, Джим, был щенком, а Васька – котёнком. И он спешил. И – смеялся, когда опаздывал вывести меня погулять, а я чувствовал себя виноватым и закрывал лапой глаза, чтобы не видеть укора. Ваське-то легче: у него всегда песок в ванной. Когда я вырос, мог ждать весь день. Но Зотов всё равно торопился, шагая через ступеньку. Привык.

Трудно мне поэтому теперь узнавать его шаги. Похожи они стали на шаги нашей старой соседки, но она, сколько помню, всегда так ходила. Прежде никогда бы её с Зотовым не спутал.

И к людям – знакомым и посторонним – я всегда хорошо относился. Как и они ко мне. Всегда было: как мы с Георгием Борисовичем идём по улице – все на нас оборачиваются. Особенно в выходной, и если он мне все медали и жетоны надевал. Поэтому я очень люблю, когда перед прогулкой хозяин, кроме ошейника, надевает мне такую голубую ленту. На ленте – медали мои, которые получали мы с Зотовым на выставках и соревнованиях.

Вообще-то я не люблю выставки: много людей, все вокруг толпятся, подходят, пальцем показывают. Зачем подходить – я место охраняю, пока мой Зотов по делам отлучается. Правда, скажешь им чуть-чуть: «Р-р, нельзя!» – и понимают, отходят, шумят меньше. А на детей я не рычу – что с них возьмешь, с маленьких. И ещё на выставках собак много разных. На людей можно внимания много не обращать, они границу знают, а вот у собак разные характеры: один тебе хвостом вильнёт, уважает, другой скалиться начнет, шерстью загривок дыбит. Теперь-то я знаю, что и у людей так бывает, недаром же у нас говорят: «Покажись, какой ты пёс, и я скажу, какой у тебя хозяин». Вот и приходится порой нервничать из-за какого-нибудь задиры. Рыкнешь: «Нашел место, где характер дурной выказывать!». – Один поймёт, другого и потаскать приходится, чтобы не забывался. Не люблю выставок, да и жарко там.

Вот в воскресенье я любил гулять с Зотовым в сквере. Идёшь с ним рядом, ни на кого особо не смотришь, а приятно, когда замечают твои медали, останавливаются, Георгия Борисовича спрашивают.

Но лучше всего зимой, когда не жарко, снегу много, ребятишки во дворе бегают весело. Выйдет Георгий Борисович со мной, засмеётся и спросит: «Ну, кто в тундру хочет?». – Это у нас во дворе игра такая была, «по тундре путь прокладывать» называлась. Только мы выходим, весь двор детский соберётся, все кричат, гвалт весёлый стоит: «Я, я хочу! – Нет, это я пелвая сказала!» Зотова я хорошо понимаю и всегда рад сделать, чтобы ему приятно было. А здесь и у самого от гвалта этого настроение щенячье делается. Привяжет Зотов одни, потом другие санки к нагруднику: «Ну, Джим, вперед!».

И я по двору круги делаю, самые большие – чтобы санки не перевернулись и все понемножку прокатились. Я и хозяина могу в них провезти, пробовал. И Васька тут же несётся рядом со мной, только хвост его пушистый развеивается. Хвост у него, как у песка – это Зотов ребятиш-

кам объяснял: «Вот, – говорит, – вам тундра, вот собака с нартами, а вот и песец...» Он и сам тогда веселился не меньше детей.

У нас в доме привыкли к таким играм. Кто вечером своего сына хочет найти, сразу к нам приходит: многие мальчишки у Георгия Борисовича учились суда парусные делать, меня обучать, книги у него читали, кортик подержать забегали. Конечно, и к нам с Васькой все добры были, даже конфетами иногда или печеньем угощали. Хоть я и не очень люблю печенье, но никогда не обижал отказом.

Правда, я чувствовал, что в соседнем доме есть те, кто не любит Зотова. Ну и нас вместе с ним. Слов я их почти не слышал, но чувствовал, что недобро говорили на скамейке, когда мы мимо проходили... «Поразводили собак да кошек, корову легче прокормить, чем пса такого». – «С жиру бесятся – пенсия военная, небось, генеральская, вот и активничает, общественник!» – «О детях он заботится, своих потерял, так чужим мозги ерундой забивает, грамотей... с котом да собакой цацкается, а людям жить негде». Зотов внимания не обращал, а спиной сутулился. Да и кому приятна злость без причины?

Что такое «общественник», я не очень понимал, но недобрость людей чувствовал. И на всякий случай на эти разговоры оборачивался и рычал. Только хуже ещё становилось – крик поднимался такой, что воробьи взлетали. А Зотов ещё больше сутулился и меня за поводок незаслуженно дёргал, я от него никогда и так не отставал. «Что вы внимание обращаете», – говорили иногда у нашего дома. А спокойно я проходить не мог, потому что неприятная ненависть у людей. Ненависть без причины – так взаправду не бывает. Как можно ненавидеть, если, кроме дороги мимо той скамейки, они с Зотовым и не виделись даже? Только у людей такая неправдашняя злость и возможна. В этом мы с Васькой скоро убедились.

...Зотов медленно поднимается по лестнице, медленно вставляет ключ, медленно открывает дверь. И входит. Я лежу всё так же, только глаза поднимаю, чтобы увидеть его лицо. И хвост сам собой бьётся по полу, хотя лицо у него невесёлое. А Васька тоже услышал и замаякал. Тихо он теперь мяукает. Георгий Борисович, не раздеваясь, мимо меня в комнату прошёл. Я не обижаюсь – слышу, он к Ваське на диван сел. Подойду к ним тоже тихонько.

Зотов одной рукой Ваську гладит осторожно. Другую руку мне на голову положил. Приятно мне. И грустно. Потому что плохо Зотову.

– Джим, – сказал он. – Джим...

Так это Зотов сказал, что я понял, какой он сейчас старый. И какой он один, даже несмотря на голос в репродукторе.

– Джим, – повторил он. – Джим...

Не понимаю откуда, но я знаю, что такое старость.

Бывают такие дни зимой. Ночью темным-темно и пусто вокруг – нико-

го нет. Никого не видно, ни в одном окошке света нет. Даже ветер ни одну ветку ни на одном дереве не шевелит. И небо – совсем чёрное. Чёрное, как прорубь. Только луна в нём, белёсая, маленькая. Вся неприкаянная и неправдашная от своего одиночества, от далёкости своей, от тоскливого ожидания. Притягивает она к себе, ждёт кого-то... А никого нет. И вдруг такая песня вырывается, такая песня лунная – люди её почему-то воем зовут, – что и сама луна вздрогнет на чёрном своём небе. Вот что – старость.

– Джим, – говорит он. – Джим...

Я не выдержал и лизнул его лицо, потому что никогда раньше не видел у нашего Зотова таких глаз. Как темным-тёмное небо.

– Придётся звонить, Джим, Степанычу, – сказал он и закурил. Это хорошо, что закурил. Мне стало спокойнее, когда он закурил.

... – Всё те же у тебя привычки! Свет... – заговорил, открывая дверь, Александр Степанович. Но я ткнулся ему носом в колени, и он замолчал. – Это так серьёзно? – поставил он рядом со мной чемодан и тихонько меня тронул, чтобы пройти к Зотову.

Зотов сидел рядом с Васькой. Было утро. Было солнце, оно светило в балконное окно. За окном уже облетали потихоньку жёлтые листья. Георгий Борисович любил такое утро, когда солнце ещё не прогрело осеннюю ночную прохладу, и воздух, уже яркий и гулкий, звенел от нагревающего его солнца. В это время мы с ним обычно гуляли.

– Это серьёзно? – повторил уже в комнате Александр Степанович. – О-о-о!

Я прошёл за ним и понял, что это «О-о-о!» относится к Ваське. Васька, когда почувствовал незнакомого, поднял морду и зашипел. Так он теперь встречал каждого, кроме Зотова и меня. Потом Васька поводит головой, узнал и мяукнул. «Да у него и хвоста нет...» – растерянно протянул гость и стал здесь же снимать пальто.

Зотов молча встал, пожал руку и, не выпуская её, повел гостя в другую комнату. Там стояли два кресла и на столике лежали сигареты. И тот же графин, а рядом с ним ещё бутылка. Я очень не люблю запаха, но подошёл и лёг рядом с креслом хозяина. Всё так же молча он налил рюмки, и они выпили.

Васька скоро месяц, как был слеп.

Широкая добродушная лукавая Васькина мордаха сейчас походила на коричневую старую перчатку Зотова. Усов и бровей не было. И вместо глаз были затянувшиеся и стянувшие лоб шрамы. И пышного хвоста не было, был куцый обрубок.

Он больше никогда не будет песцом. И я больше по тундре прокладывать дорогу никому не буду.

– Часто? – спросил Александр Степанович, показывая на бутылку, которую Зотов снова взял.

– Ни к чему мне это. С тобой вот встретился да рассказывать полегче, вроде, – сказал Зотов и убрал всё. Он стал показывать какие-то бумаги, медленно вспоминал, словно боясь сбиться.

Я помню всё очень хорошо. И всё случилось гораздо быстрее, чем он рассказывал.

...Уже должны были пробить пять раз часы. С балкона уже высматривал я Зотова. А Васька ещё днем убежал по дереву во двор и, наверное, играл там с детьми. Что ему там грозило: на улицу Васька сам не выбегал, а во двор ни одна чужая собака войти не решилась бы – я везде оставил свои надписи-предупреждения...

С балкона я высматривал Зотова. И услышал Васькин крик. Именно крик, даже вопль – так это назвал сейчас Зотов. Такого вопля... – да, конечно, во-пля-а – я никогда не слышал вообще, не то что от спокойного и, скорее, ленивого Васьки.

– ...Наверное, вопль был похож на визг трамвайных тормозов, как мне дети потом рассказывали, – вздыхает Зотов...

Тормозов... Это было прощание Васьки со своим хвостом. Васька ведь не ящерица, что сама оставляет свой хвост безболезненно. Двое мальчишек, уже больших, обрубили пышный хвост кота.

Я ещё не видел никого, и Васьки не видел, но я хотел позвать и залаял. И ещё хотел предупредить, что у Васьки есть я. Лучше бы я не напоминал о себе. Если бы я был во дворе, то не дал бы его обидеть. Я думал, может, бродячая собака напала? Но что бы сделала ему бродячая собака, он был большой и прыгать умел здорово, и во дворе всегда ребятишки были, его знали. От людей он никогда плохого ничего не имел, одну ласку, правда, и ласкаться любил. Сам и подошёл к этим мальчишкам, когда его позвали: «Кис-кис». Лучше бы я не напоминал о себе, оставили бы Ваську в покое, а там уже и Зотов подошёл бы.

Но он что-то задерживался, а внизу слышали, как я лаю. И не отпустили бесхвостого уже кота, подошли с ним к балкону: «Ишь, как пёс-то злится!» Видно, правда: семь бед – один ответ, а интереса – больше...

Я не злился. Я метался по балкону, бегал с балкона к дверям квартиры и назад. Я не знал, что можно сделать. Двери были закрыты, как ни скрёб я их когтями, по дереву лазать не умею, а спрыгнуть... прыгать мне всё внутри запрещает – ин-сти-нкт-са-мо-сох-ра-не-ния, так это назвал Зотов.

У людей ведь тоже есть этот инстинкт? Мне приходилось слышать, когда ночью мы с Зотовым вышли на женский крик о помощи и остановил я того человека, на которого мне указал хозяин. В окнах то зажигался, то гас свет, видны были даже лица в окнах. А на улицу никто не вышел – «ин-сти-нкт-са-мо-сох-ра-не-ния», вот так же проворчал Зотов, когда мы куда-то отвели остановленного человека.

У этих двух мальчишек с Васькой в руках инстинкт сработал позже.

А пока я лаял и метался, им было весело. Потому что я не знал, что делать, а взрослых никого было, и Зотов задерживался. Васька, завернутый в какой-то половик, только стонал. Видно, я мало и неинтересно уже метался, только эти дети (чьи же они дети?! – спросил Александр Степанович) схватили из костра головешку – там, на беду, рядом жгли мусор и листья.

– Отпустите, это ведь капраза кот. Вон Джим его на балконе, – крикнул ещё какой-то мальчишка, он, видно, бывал у нас.

– Видали мы твоего капитана! Развели здесь собак да кошек, лучше бы свинью выкармливал, и то польза, – ответил один.

– Мелкашку бы батину, я бы живо твоего Джима успокоил! Ну-ка, иди сюда, – схватил защитника Васьки второй парнишка, постарше. – Держи-ка огонь, защитничек.

– Не буду... – Мальчишка был послабее и заплакал.

– Бу-удешь! Вот, смотри! – Здесь Васька закричал так, как уж он никогда кричать не будет.

А я не помню, что случилось, но уже летел вниз. На секунды стало больно, я тряхнул головой, прогоняя из глаз темноту. И увидел тех, двоих. Теперь инстинкт их работал ногами, но я догнал их, одного, потом другого... И отпустил второго только тогда, когда услышал голос Зотова. Потом уже увидел других людей, они громко кричали на хозяина, но близко не подходили, пока не пришла какая-то машина...

... – И начались комиссии? Джим их здорово... потрепал?

– Особенно второго, слава богу, хоть цел парень, я вовремя подошёл. Но потом... нет, Джима я не дам усыпить. И, знаешь, не хочу я платить. Не потому, конечно, что денег жалко...

– Понимаю. Давно говорил тебе – уедем, а, Георгий? Вот закончится сейчас всё, уедем...

Они говорили ещё долго. Ещё дольше – молчали. Я не люблю, когда так молчат, молчанием молчат тяжелым и тоскливым, как неосуществлённая мысль...

И здесь звонок в дверь раздался. Открывал дверь Александр Степанович, послышались голоса, не чужие-недобрые – голоса ребяташек, что бывали у нас. «Впусти!» – крикнул Зотов. Несколько мальчишек уже заглядывали в комнату.

– ...Нет, – сказал Зотов появившемуся Александру Степановичу. – Нет, Степаныч, не уеду...

– Нет, Джим, жить будем!

Он хотел встать, но я положил голову ему на колени. И зарычал. Тихонько.

ЧУЖАК В СТАЕ



НА ВЫХОДЕ в Северное море нас встретило солнце, штиль, хороший прогноз на погоду. И плохой – на рыбу. Но мы-то как раз за рыбой сюда и шли, впереди три с лишком месяца – их работать надо, загорать мы и дома можем. Флагман сообщил, что весь флот недалеко, на границе Северного с Норвежским, большинство в пролове, но лучшего и нигде нет. Здесь, мол, и будем, дальше не ходить, дальше разведчики пока бегают.

И этот новый капитан, что заменил нашего Трофимыча... С тем мы горя не знали, промысловик был, ловец, да вот списался на берег, на пенсию проводили. А этот?

– Пока шли на промысел, всё учения устраивал, шлюпочные, пожарные, авралы никчёмные. Не на крейсере, чать, мы за рыбой в море ходим.

Всё, что флагман кэпу передавал, мы узнавали от маркони-радиста, он нам все новости доводил. Даром что он капитанский радист – вместе они пришли, – а парень отличный оказался. «Оказался» – потому что за разочарованием в новом капитане мы не сразу и заметили ещё одного новенького. У всех радистов в море одно имя, это он на берегу Петр, Спиридон, или там Эдик, в море же все они – «Маркони».

«Капитанским» наш новый маркони даже дважды оказался, он сам и рассказал: и ходил с ним, Скребцовым, раньше, когда тот в старпомах был, и родственники они какие-то. Родственников, известно, не выбирают, только ему можно было поверить, что от этого ещё больше при-

дирок получается. А отказываться, мол, с ним снова идти – неудобно, вроде посочувствовал, «хоть один знакомый на новом месте нужен», – так его кэп уговаривал. Да и молва о добрых заработках на «Мерефе» соблазнила. Так, дура, заработки-то те от Трофимыча...

Может, и перебрал маркони насчет лишней к себе требовательности, чтобы мы его сразу не отвели, но парень он отличный оказался, компанейский, весёлый. Ленивый, правда, это быстро проявилось, но маркони почти все такие, им это прощается, потому что они «одним ухом на земле стоят», а каждому охота радиogramму лишнюю отбить-получить. К тому же, при любой рыбе, при любом аврале не трогают их в работу: одна забота – связь постоянная, руки у него, как у пианиста, всегда здоровые должны быть, без связи в море пропадёшь. Зато, когда все на палубе вкальвают, когда уж и спины затекают и руки виснут вдоль тела сами, вот и включит маркони радио на палубу, да такое что-нибудь забористое – сами руки задвигаются, хоть ты уже трижды по четыре часа на палубе отпахал. Такая их нужная работа – людей веселить, радовать и между собой связывать...

Так вот, не везло нам с самого начала, хоть маркони компанейский попался, хоть погода баловала, да и работать все хотели. Не везло. Новый капитан букой ходит, в кают-компании, где все обедаем и по вечерам кино крутим, почти не показывается, кока попросил даже еду ему в каюту приносить. А голос его только вахтенные и слышали, когда курс давал, да ещё бригадир с рыбмастером, когда он их советовать вызывал. «Советоваться»...

Наш Трофимыч так иногда мог «посоветовать» кому-нибудь – аж уши трещали, сам всё знал. А работать заставлял – жилы лопались, он же только поддавал с крыла рубки по первое число да смеялся: «После кассы отдохнёте, бубны-козыри!». И в салоне язык почесать не последним был: свойский парень, только ему не перечь лучше, даже когда неправ – спишет к чёртовой бабушке, ищи после такого добычливого. Вообще-то, если честно, мы при нём немножко пиратами были, обижались на нас свои моряки: обмечем чужие порядки, нахрапом возьмём рыбу из-под носа товарища, хоть тот и раньше сети вымечет. Наш-то: перекроет косяк – у нас в сетях «шубу» рыбную тащим, а сосед пустыря хлебает. Умел. И сходило.

Не задался рейс. Всё одно к одному. Капитан молчком себе думает, с промысловиками «советуется», флот в пролове. А тут ещё эхолот полетел, не пишет ничего, когда рыбу искать надо. Вот и начали бегать за мелкой рыбёшкой по пеленгам разведчиков да товарищей по отряду. Сети, считай, вслепую сыпали. Их ведь утром, всё одно, что полные, что пустые, вытаскивать надо... И вроде всё чин по чину начинали: когда первые сети вымётывали, кок наш Николай испёк огромный крендель из лучшей муки и сам к началу «вожака» привязал – мол, чтобы сразу

к Нептуну подарком нашим попал; и деньги все, какие у кого от берега остались, за борт под первую сеть бросили. Даже капитан новый, Скребцов В. С., усмехнувшись чему-то не очень весело, все карманы вывернул в море – мы специально смотрели. Ан, нет – пустырь пришёл...

Бухтеть мы потихоньку начали по кубрикам.

Маркони притих, его капитан, видно, насчёт эхолота накрутил: тот у себя в рубке заперся, нас без новостей оставил. С эхолотом колдовал, а может, спал – музыка там в рубке жужжала потихоньку, не унывал он. Но через несколько дней ведь починил-таки эхолот!

И мы бегать начали, море винтом взбивать. Несколько суток бегали. То кругами, слышно только, как реверсы меняются – то малый, то средний, то стоп и назад. А то – как зарядим без остановки на самом полном, полсуток летим, только рулевые меняются да анекдоты знакомые обсасываются... Капитан, правда, из рубки даже поесть не выходит. Носимся, забыли, когда и сети сыпали. Нас, конечно, кэп через боцмана красить что-то там заставлял, судно мыть, а чего его мыть – и чешуйки рыбьей не сыщешь, да и не в порт же идём. Ну точно, старпом он закоренелый, этот Скребцов, куда ему с такой фамилией больше. Заавралит он нас водными да пожарными тревогами, хоть засохнет там у эхолота. Заавралит, а без рыбы – кому надо...

Потом вдруг за полночь – ни одного огонька вблизи, ни одного судна другого рядом не слышно – ударил звонок на выметку. Двигатель замолчал – в дрейф легли. Так, дрейфуя, и выметали сети. Да не сто – сто двадцать, – всё равно наутро пустыря тащить, так не пожалел же нас, зараза! – а все сто пятьдесят велел ставить. Хоть смех тот на нашем горбу скажется, но посмеёмся над ним – завтра. Сегодня хоть ночного подъёма по шлюпочной тревоге не будет – он нам ещё, кажется, шлюпочной не устраивал!..

Не рассвело ещё, а звонок задергался по кубрикам – ах, чтоб тебе... Чего он там снова придумал?! Одевались медленно, глаз не раскрывая: трещотка нас подняла, а разбудить не сумела. Шторма не ощущалось, как и вчера шла по морю длинная долгая волна – это было дыхание очень далёкого шторма, но не сам шторм. Траулер медленно, сонно поднимало на пологий гребень протяжной волны, так же спокойно, будто осторожно, опускало. Неторопливо одеваясь, колебались – надевать ли робы резиновые, зюйдвестки. Или в ватниках достаточно выскочить да в сапоги налегке всунуться: отделаться и назад – в койки.

Только здесь бригадир влетает, очумелым голосом орет – буи, мол, притонули! А буи притонули – выбирать сети срочно, если не хочешь весь порядок потерять: рыба в сетях, и не малая, от малой рыбы буи не притонут.

Надо ж, повезло кэпу. Случайно видно ночью косяк нагнало. Тут уж мы глаза продрали, заторопились: и портянки намотали, и робу

натянули, и ножи шкерочные похватали – сколько её ни будь, а резать-потрошить придётся, не зима. В первый раз за рейс, неужели пофартило?..

А рыба шла. Сетка туго переваливалась через рол, свободные моряки уже начали её резать. И погода – как на заказ. И чайки весело горланили над сетями, пророча ещё большую рыбу. Чаек мы все любили, они сопровождали нас, куда-то улетаая лишь к вечеру и рано утром появляясь снова в надежде на лёгкую добычу. Кажется, мы даже узнавали среди них знакомых, во всяком случае, сегодня их суматошные крики сулили удачу, и мы радовались этим крикам, и бросали за борт порезанных сетью селёдок, и с удовольствием смотрели, как птицы целой гурьбой падали в воду – сегодня всем хватит!

В таком настроении нам не хватало лишь музыки, но маркони уже догадался и шарил в эфире. Эфирная разноголосица, которую он – случайно ли, нарочно – дал на транслятор, так точно вплелась в возбуждённые крики чаек, в шорох шпиля, наматывающего вожак, в потрескивание рола и стук ножей на разделочном столе – так точно вплелась в наш ритм та эфирная разноголосица, что хотелось обнять весь этот мир зелёной колышущейся воды и голубого неба, обнять даже нового капитана, Скребцова того, Валентина Степановича, пусть он и случайно напал на эту рыбу.

А рыба шла. И лилась музыка. И некогда уже было прикурить. И все, даже «дед», стармех то есть, пришли на палубу шкерить рыбу, хохотать старой шутке и давать темп резки. Хотя кто же угонится за Витькой Сысоевым, бондарем, или за нашим «рыбкиным» Петровичем – они могли по сто пятьдесят голов в минуту резать, а потом бежать к своим бочкам, солить, забивать, откатывать. Никто за ними не успеет, а – стремятся, просто так стараются – из лихости и хорошего настроения. «Отец родной, кормилец» кок Николай всех чаем обносит, почти в рот куски суёт и не хочет на камбуз возвращаться, где ему в одиночестве обед готовить нужно. Даже у кэпа – везло б ему тысячу лет! – там, на крыле рубки, вроде лицо потеплело, или от солнца так кажется?

А рыба всё шла...

И всю наступившую ночь мы выбирали рыбу, останавливались и резали, и снова выбирали. И не обижались на подвалившую работу, хоть и тяжеленько то веселье доставалось – обедать и ужинать по очереди бегали. Но выбрали-таки все сети.

Забили трюма – семьдесят пять тонн за двое суток, ещё и на палубе в брезенте тонны три недошкеренной рыбы оставалось, когда кэп через бригадира всех спать погнал. И то – большинство так не раздеваясь и упало... А траулер уже курс на базу взял. И кого там капитан покрепче нашёл, чтобы у штурвала стоять?

Когда проснулись, к нам в кубрик маркони завернул. Новость уди-

вительную принёс, даже старик Петрович, рыбмастер, пришёл послушать: капитан-то новый пеленг нашей рыбалки на весь флот передал, туда сейчас все суда бегут. Наш прежний кэп Трофимыч уж такое не отмочил бы – втихую сдал бы рыбу, да назад. Там второй груз, наверняка, взять можно... Н-да... С какого-такого богатства капитан уловом нашим разбрасывается?

– А что, – пожевал папиросу Петрович. – Может, его серьяжная правда здесь есть. Весь ведь флот в прогаре... не куркуль...

Витька же Сысоев выгнал нас на палубу: терзать свою гитару принялся многозначительно – «повезло, мол...»

Такой рыбы у нас в этом рейсе больше не было. Но и пустыря тоже не таскали, три-пять тонн почти постоянно брали. И не надрывались, и без работы не сидели. Теперь уж на подвахту только желающие приходили, но кто же откажется рыбу пошкерить в компании, когда на палубе солнце, когда чайки горланят, когда через музыку байка проскальзывает, когда – настроение, кто же откажется?

И вот этот день.

День, в общем, как другие. Только усталости чуть больше, чуть желаннее отдых – груз снова добирали, к походу на базу дело шло.

Резали не торопясь, музыка плыла медленная, чайки примелькались, к солнцу приленились – по пояс голые трудимся, июнь начался... Правда, маркони передал, что шторма ждут в нашем районе, но сейчас не страшно и несколько деньков шторма – отдохнём чуть от рыбы, да пока к базе сходим, утихнет. Летние шторма – они недолгие. И вот этот день. Резали потихоньку, музыку маркони поймал медленную, чайки за рыбой у борта падали на воду неторопливо.

– Гля-ань-ка!.. – пропел Витька Сысоев.

Глянули: маркони с улыбкой на палубу вышел, что-то в руках держит.

– Эксперимент! – говорит.

И подбрасывает в воздух чайку, как он её поймал только? Но чайка та уже не белая, и синевою снежной под солнцем и небом не отдаёт. Пёстрая какая-то чайка, вся в красных, чёрных, зелёных до ядовитости пятнах и полосах, где он только краски добыл?

– Во-он зачем ему краски понадобились... «По-нем-ножку-у...» – протянул боцман. – Худо-ожник!

А чайка, что маркони выпустил, – её уж не потеряешь из виду, – испуганно пролетела в сторону, почти скрылась. Но тут же и назад вернулась. Туда, где ее товарки над рыбой переругивались. Тоже – за рыбой, или просто к своим, кто её узнает.

Только теперь не была она «своя»: сперва одна-другая, потом многие, а там уже и вся стая набросилась на пёструю чайку. Гомон недо-

брый, невесёлый хрип они подняли, громкий и противный визг над траулером завихрился вместе с клубками птиц. И каждая стремится ударить разрисованную нашим маркони чайку. Только потому, что белых чаек было много, и они мешали друг другу, «эксперимент» не кончился сразу.

А она – пёстрая птица-чайка – явно не понимала причины общей вспыхнувшей ненависти. Она металась от одной товарки к другой, может быть, среди них была и вовсе близкая, чайка металась, словно крича: «Да это же я!.. я! Почему вы не узнаёте меня... За что?..» Или что там она ещё кричала... кто узнает, но «эксперимент» кончился, и пёстрокрылая чайка пропала.

Маркони улыбался, повеселил он нас славно.

Плыла медленная музыка, мелькали деловито белые чайки, сверкало солнце на рыбьей чешуе, сверкало повсюду.

– Мда-а... – протянул Петрович, рыбмастер.

– Во-она зачем краска-то, – шевелил губами боцман.

– Да-а, экс-пе-ри-мент, – тихо и по складам выговорил Витька Сысоев, который ближе всех стоял к маркони и потому первым ударил весельчака.

Слабо ударил, тот не упал, только отлетел к лебёдке и, схватившись за скулу, непонимающе уставился на нас. Мы отвернулись – надо было работать дальше.

Маркони ушел к себе. И щелчком прервалась музыка.

– Пойди к капитану, – сказал мне рыбмастер, распрямляясь над бочкой, которую он только что откатил. – Пойди к капитану, будь они хоть десять раз родственники. Пусть эта гнида идёт на палубу и занимается делом. И пусть капитан отправляет его первой оказией. А то, не приведи боже, конечно, его с крыла первой волной смыть может... Так мы думаем. – Петрович обвёл всех взглядом, он был самый старший на палубе, и он дольше всех ходил в море.

Я и сказал все это Скребцову Валентину Степанычу. Кроме волны, конечно, всё сказал. «Работайте...» – ответил он. Ещё сказал, чтобы Петрович к нему зашёл: «...Сысоев пока поработает за рыбмастера».

Говорить с маркони мне было трудно: он не понимал. Но в волну, судя по лицу, поверил. И на палубу вышел, и шкерочный нож взял, который ему бондарь бросил.

Нигде маркони не трогают в работу на палубе, его забота – связь постоянная, у них на судне своя работа нужная – людей радовать и меж собой соединять.

У этого кончилась такая работа. Взял он нож шкерочный, резать рыбу начал под тишину нашу. Но недолго резал – швырнул нож почти к ногам моим, убежал, зубами заскрипев.

А Петрович как раз от кэпа вернулся.

– Нормальный он человек, – сказал рыбмастер. – Поработаем ещё. При мне дал радиограмму на базу о замене нашего... экспериментщика. Стучит сейчас свою отходную. Не повезло кэпу, конечно... подолгу мы на берегу не бываем, что ж поделаться, судьба. Сына вот и упустил... м-да-а... рейс. А туда же – «седьмая вода»...

Лежит теперь тот шкерочный нож у меня в столе, хоть траулера нашего и в помине уж нет, да и флот наш рыбный лишь воспоминанием и жив. Не очень-то видный нож, весь потемнелый, источенный частой правкой.

А кажется, стоит его лизнуть, и теперь, наверное, ощутишь горечь соли.

ПОЗЁМКА НА ДОРОГЕ



НАД ДОРОГОЙ дымилась позёмка. Ночь была светлая от белёсых облаков, сквозь которые всё не могла пробиться луна. В воздухе плавала опасная морозная оттепель. Ровный ветер гнал по дороге сухой снег.

Казалось, мы тоже едем по-над дорогой: такой ровной дымкой стелется позёмка. Лишь в отдельных выбоинах взметаются вертикальные снеговые вихри-столбы, разбиваемые радиатором машины.

Ехали не скоро – Леонид, по всему, не любит рисковать без нужды. И хотя на дороге никого не могло быть, хоть ночь была поздняя, какая-то даже бескрайняя, а двигатель гудел

ровно и Леонид почти не трогал скоростей, он отказался даже от крепкого чая, предложенного ему «для бодрости».

– Ни к чему это, пусть и с ромом... А ты не спи дорогой, – ещё вначале предупредил меня Леонид. – А то я развернусь... не люблю, когда пассажир носом клюет. Ехать не могу...

Ровность же езды укачивала, в кабине тепло, мелькание за стеклом безлико. И ЗИЛ его надёжен – новенький, ухоженный. Я не спал, довольный уже тем, что водитель не требует от меня разговоров. Медленно, не отрываясь от дороги и не поворачиваясь ко мне, он говорил сам. Впрочем, я чувствовал, что он меня видит, и потому я сидел вполоборота к нему, изредка закуривая или прикуривая сигарету для него.

Мы везли на кордон зерно для подкормки зимой птицы и зверя, машина «выбита» для меня стараниями друзей и должна сразу вернуться обратно, а крюк в шестьсот километров туда-назад и согласие на него – само это одолжение заставит тебя быть внимательным. С Леонидом мы по-

знакомились уже здесь, в кабине. И я понимал, что он делает это одолжение, и потому давил в себе даже расслабленность, чтобы не окупиться нечаянно в сон.

Впереди ждали лес и горы. Пока же мимо текла вовсе незаметно поднимающаяся к горам степь, летом выжженная, сейчас ровно заснеженная и безжизненная. Не на чем здесь остановиться глазу, вот разве перебежит дорогу случайный зверь. Может, именно в этом ожидании разговор у Леонида всё время возвращается к охоте. Да, он любит её, правда, не больше рыбалки.

Честно говоря, с ружьём я представить Леонида не могу, сколько ни стараюсь. Из-за внешности его.

Водитель мой мало сказать большой – он громаден: почти двухметрового роста, ноги будто столбы, плечи широченные, а когда он становится на подножку, даже ЗИЛ-130 ухает, принимая его в кабину. И при этом – никакого впечатления грузности, тяжеловесности – настолько всё в нём соразмерно и ладно скроено. Если добавить ещё и белокурые волосы и розовощёкое лицо, хоть ему явно под сорок, крупно и правильно вырубленное лицо, то станет понятной характеристика в одном слове моим приятелем: «Ве-еликан!». В гараже его называли проще – Большой.

Так вот, с ружьём (тем более – с удочкой!) его я представить никак не мог: в таких руках оно казалось бы случайным прутиком, ему с ружьём, по моим прикидкам, было бы просто неловко справляться по причине малости ружейной. Ну, в крайнем случае, какая-нибудь древняя фузея, что заряжалась с дула и напоминала бы скорее малую мортиру... Самое естественное, что ему просилось в руки, был громадный топор среди могучего леса необхватных мачтовых сосен, однако я здесь же и порадовался его нелесорубской профессии – какой бы лес не поредел под напором такого гиганта?

А здесь его руки спокойно лежат на баранке, которой под такими лапами и не видать. Да, вот ещё где уместно представить Леонида: на паруснике, у неповоротливого, в рост среднего человека, штурвала.

Я вспомнил очень похожего на него второго штурмана рыбацкого траулера из Архангельска, с которым когда-то ходили в море и которому было настолько тесно на траулере, что он к концу перебрался-таки на базу-матку четвёртым помощником.

– Не-ет, брата у меня нет, – ответил Леонид и добавил, будто откликаясь на мои мысли: – А лесорубом вот я поработал. Немного, правда, в армии, возле Уссурийска... – Больше всего на уток люблю охотиться, – неторопливо продолжал он свой разговор. – Затемно залезешь в камыши, ещё морозец ночной потрескивает под ногами... а на востоке уже розовеет, тишина, камыш только чуточку поскрипывает... потом слышишь вдалеке поначалу: «хли-жи-хли» – летят! Вот – над тобой уже. Вскочишь на ноги, небо словно совсем близко. («Ещё бы не близко, при таком-то росте!») – не-

ловко пошутил я.) Да нет, не в росте дело, а – вот оно, небо, и вот – меж ним и тобой – стая. И ты достаёшь её дуллетом... Понимаешь, как здорово!

А вот на знакомых не могу охотиться... даже есть не могу... Это ты прав, у нас это бывает любимое занятие – на знакомых-то... не о том я... Ну вот держала у нас мать гусей, кур, баранов там несколько бегало, корова с теленком... всё знакомые физиономии! Так вот, кормишь их, по голосу различать научишься, за ухом кому почешешь – как же ты этого гуся потом в суп засунешь, если он к тебе на зов торопился недавно? Отказался я после держать живность, кроме собаки да кошки, дома никого не хочу. Привёз как-то ягнёнка, Борькой назвали. Так, веришь, привык до того, что заеду пообедать, дверь забуду прикрыть в кабине, выхожу а он, паразит, – уж там, по сиденью копытцами перебирает да ещё горошин порассыплет! Съешь его разве?.. Продал. Да и дома теперь... нет, ладно, не о том я...

Так и на охоте... есть у меня тоже егерь знакомый, отдыхал у него, ну и помогал, понятное дело. Вот мы кабанов осенью прикармливали: рассыплешь зерно, картошку, ещё и в машину сесть не успеешь, а малыши уже хрюкают, хрустят, толкаются. Матки да постарше подсвинки – те осторожнее, поодаль жмутся, а этих – чуть не в руки бери, полосатиков, да такие смешные, толкотливые! Зимой к нему же приехал. Пойдём, говорит, на охоту, кабана взять надо. Пошли.

К вечеру уже, луна ранняя была, всех, как на ладошке, девять насчитал на поляне. Копают – ровно бульдозеры, только комья мёрзлые летят... а что накопают, когда снег да мороз? Трудно зверю зимой порою... Уж подросли маленькие, полосок не видно, да вспомнил, как кормил их, как суетились и хрюкали... Положил ему, приятелю-егерю, руку на ружьё: нет, говорю, всё понимаю – надо отстреливать и мясо нужно, только вот уйду, без меня и охоты – кажется, что знакомые они и на меня всё посматривают! Ух, и костерил же он меня потом дома! Смотри-ка...

В свете фар на дороге металась лисица... нет – меньше и серая – корсак. Я взял расчехлённое ружьё, достал патроны.

– Попадёшь на ходу? – спросил Леонид вроде с сомнением.

– Конечно, двадцати метров не будет... – ответил я, примериваясь взглядом, и опустил стекло дверки. В кабину свистнул снежинками ветер.

А Леонид выключил свет на секунду и дал газу. Мотор зарычал, корсак сразу нырнул с дороги. Я удивлённо взглянул в чуть улыбающееся лицо соседа.

– И почему их так к дороге тянет, объясни ты мне? А мы тут как тут – с фарами, с ружьями, со скоростями... венцы природы!.. Знаю, скажешь сейчас, что он зайцев, кекликов там или ещё кого, гнёзда, мол, зорит, знаю. Только они ведь и без нас наверняка смогут разобраться... Кто это нас поставил – выбирать? Вот если б ты на лыжах этого корсака догонял, день-другой его выслеживал, да хитрости его расплетал, это я понимаю – охота. На равных. Спорить будешь?

Я не спорил. Мне казалось это правильным, хотя и не очень реальным.

– А ты говоришь, что любишь охотиться... Как же ты вообще-то на курок нажимаешь, а, Лёня?..

– И охочусь, и – люблю. Не убивать – брать люблю, выстрел – это уже конец, итог, значит. А до итога... Вот на тека люблю охотиться, хотя мне это непросто – тяжеловат я для скал. А все-таки: налазишься, намучаешься, выследишь, где он может на тебя выйти, во-от тогда он твой... аж сердце тотокает от азарта, от предвкушения добычи, да-а... пусть колени сбиты все, так вот и надо, да на руках, а то и на морде царапины саднят и страх сорваться со скал ещё живёт в тебе, а ты... вот как!..

Ехали мы все так же неспешно. Всё так же мела позёмка. На пути в посёлке из трёх домов попалась заправочная, здесь мы посидели немного, перекусили, выпили весь чай из термоса, словно сил набираясь. Дальше перед нами лежала широкая пустынная долина в несколько десятков километров дороги, после которой начинался перевал. Но ту долину надо было пройти.

Звалась долина Иссущающей. И вполне оправдывала своё название. Оправдывала не только летом – тогда здесь было постоянно желто от редкой жухлой полыни да жёсткого ковыля; желто от потрескавшейся в безводье суглинистой почвы. Долина эта иссушала и зимой, даже снег здесь, если и выпадал, то нёсся жёсткими замороженными иглами и исчезал неведомо куда, будто вымерзая и сам. Не дай бог чему-то сломаться и стать здесь, в распахнутой на три стороны пустоши, машине. Ветер, едва откроешь дверцу, срывает и уносит все крохи тепла, мгновенно сжимает мускулы, стремясь превратить их в сухое дерево. Ни зверя, ни птицы не встретишь здесь зимой. А ветер, нестерпимо жаркий и столь же нестерпимо леденящий, вопит здесь постоянно, со свистом вырываясь с перевала, перед которым долина сходится в ущелье.

Но нам хорошо в тёплой кабине, ровно гудит мотор надёжной машины, баки полны, запаска есть – чего нам опасаться, нам хорошо и спокойно. Мы разговариваем, курим, стараясь отогнать настёрную дремоту.

«Сколько земли пропадает...» – Это я слышу здесь почти от каждого шофёра. Здесь, на этой ровной безжизненной глади, невольно примолкают разговоры, на полуслове порой обрываются анекдоты: «Сколько земли пропадает...» Да, сюда бы воды, но воды надо много, чтобы напоить веками сохнущую землю. Чтобы оживить тлеющую здесь полужизнь... А может быть, так и надо – чтобы здесь была пустыня, чтобы накапливала она что-то своё? И где это вода теперь – лишняя?..

– Ишь, несётся... чего бы ему по такой дороге торопиться. – Леонид скосил взгляд в боковое зеркало и тихонько повернул руль, прижимая свой ЗИЛ правее к обочине.

Только сейчас мы невольно заметили, что вот уже за три часа езды нашей это была первая машина в пути. И то сказать – ночь, непогода.

Старенький, видимо сельский, «газик»-самосвал, брызгая из-под колёс гравием и звеня цепями, обогнал нас. И ушёл вперед, вскоре в позёмке скрылись его красные огоньки.

А проехав ещё несколько километров и раскуривая поданную мной сигарету, Леонид вдруг нажал на тормоз. От неожиданности я чуть не вбил носом в лобовое стекло, но здесь же, не успев выругаться, впился в то же стекло уже глазами. «Смотри-и!..»

Дорогу перебегали, перепрыгивали, переходили длинноногие, несурово горбоносые, по странной прихоти природы не ставшие обладателями хобота рыжеватые звери, некоторые со светлыми рогами, украшенными крупношаговой резьбой, – сайгаки.

Было очевидно, что они истощены. Бескормицей ли иссушенной равнины, дорогой ли и ледяными ветрами, неведомой ли нам опасностью, или всем вместе взятым, но они были истощены и обессилены. Некоторые, уже не обращая на машину внимания, лежали у дороги, вокруг них ветер вихрил снег безрадостно и безнадёжно.

Леонид потихоньку проехал вперед, остановился снова. Сайгаков было много, очень много. Куда направляли они свой обречённый переход? Не в этой долине искать бы им корм перед дальней кочёвкой... Надеялись выбраться за перевал?

Огромный мой водитель выскочил из кабины, подошёл к маленькому сайгачонку, никуда от человека не убегающему. Да и остальные не очень встревожились, на тревогу у них было мало сил, это была храбрость равнодушных.

Леонид забрался в кузов, стал лопатой выбрасывать зерно. Я, прихватив его стёганку, тоже вышел наружу. Ветер свистел в ушах. Побросав, мы проехали немного, ещё немного.

– Их не накормить этим, Лёня, у меня ведь тоже – для зверей...

– Да-а, чёрт возьми, какого дьявола их сюда занесло?!

– В этом году засуха пала, теперь снег, бураны, везде так, они даже в посёлки заходить стали...

Ссыпав ещё немного – «кому-то, глядишь, и поможет выкарабкаться!» – мы осторожно поехали дальше.

Мы ехали, и везде у дороги отдыхали или гибли истощённые антилопы; перебегали, перепрыгивали, переходили, скрывались в вихрящемся вокруг них снегу более сильные. Впереди засветились четыре красные точки: обогнавший нас «газик»-самосвал не ехал, стоял.

«Ах ты, скотина», – пробормотал Леонид.

Я удивленно глянул на него. Он так же смотрел вперёд и не мог видеть больше моего, а впереди был только незнакомый «газик». Что-то почувлял? Но здесь увидал уже и я: на укатанном, вбитом снегу дороги видны розоватые в свете фар пятна – кровь. Ну, конечно же, ах, скотина...

Мы подъехали. Свернув левее, встали рядом. Теперь было видно, что

мой великан не спорол напраслину: водитель самосвала забрасывал в кузов крупного рогача, два других сайгака, вернее – то, что от них осталось, валялись в стороне. «Мар-родёр-р», – клокотало у Леонида в горле.

Мы выскочили с ним одновременно. Водитель, рослый парень лет двадцати семи с торчащими возбуждённо ушами шапки-ушанки, улыбнулся нам понимающе: «Здесь всем хва...» Леонид молча поднял то, что недавно ещё было крупным сайгаком, а теперь превратилось в изломанное ударом стерво. Этим месивом он и сбил «охотника» с борта.

Судя по всему, тот оказался крепким парнем, он даже, до конца ещё не понимая происшедшего, вскочил... Но где же ему было устоять против такого великана, да ещё и разъярённого. «Большой» буквально вбивал это сырое антилопье мясо в упавшего на дорогу добытчика. Мне стало жутковато, я попытался остановить расправу.

– Уйди! Жив будет, скотина...

Потом отбросил свое необычное орудие, поднял за ворот перепуганного до синевы и что-то невнятно бормочущего парня. Отрезанная голова рогатого сайгака лежала впереди «газика». Рядом – цельная, со сломанной ногой туша. На буфере, на радиаторе была кровь, следы коричневой шерсти. Нет, мы ошиблись: машина оказалась не сельской, номер городской, а что это меняло? В кузове уже лежало пятнадцать туш.

Парень стал садиться в кабину, потом, вспомнив, полез опять в кузов – выбрасывать. «Пойду, возьму акты...» – сказал я. «Ни к чему, актами их не научишь... ничем, пожалуй, уже не научишь. Этот хоть так теперь запомнит, подавился бы он тем мясом». – Леонид отмывал сухим снегом руки и ёжился под ветром. Ярость его потухла, он даже как-то сник. Но тут же и вскинулся.

– Ты куда это выбрасываешь?! Нет, ты, гад, вези и жри, раз убил. Всё, до последнего ошмётка собирай и вези. Вот эти, нормальные которые, сколько там... вот и сдашь в первую же столовую, лучше в детсад, а ошмётки все – себе. И не вздумай выбросить по дороге, сырыми накормлю. Я тебя, сам понимаешь, везде найду, ещё и ребятам в автобазе скажу... не все же у вас там такие... быстрые. Разворачивайся и езжай, – Помолчав, он тихо добавил. – Я скоро следом поеду...

Парень загрузил всё в машину, потом, уже садясь в кабину, вдруг выгнулся, и его вырвало. И он долго ещё, хрипя и всхлипывая от запоздалого ли страха, отвращения или жалости к себе, тёр снегом лицо.

– Прорвало-таки... ну, теперь езжай осторожнее, – отвернулся, но продолжал стоять рядом Леонид.

Впрочем, голос его, или мне так показалось, немного помягчел. Почувствовал ли это наш «добытчик», но он подошёл к гиганту, хотел что-то сказать, протянуть руку.

– Езжай, езжай, гад такой, – уже вовсе беззлобно сказал Леонид и пошёл к машине.

«Газик» развернулся прямо в поле, осторожно пропуская мимо сайгаков, отставших от основной массы. Медленно дался назад, габаритные огни вскоре растворились, шум двигателя пропал в ветре. Холод теперь и нам напомнил о дороге, мы заторопились.

– Вот черт! Голову оставил, зараза... свою бы лучше! – сказал Леонид, уже стоя у кабины. У самых наших колес лежала ещё одна отрезанная рогатая голова. – Ты умеешь чучело делать? Не пропадать же рогам... хоть память не шибко приятная.

Остаток пути мы проехали молча. И, если не считать одной остановки – «Подожди, давай по сто грамм примем!» – быстро доехали. «Не думай, этому сайгачатина не скоро в рот полезет...»

Доехав, сразу разгрузившись и выпив чаю, Леонид отправился обратно. И больше нам не довелось встретиться.

Прошёл год. Я и думать позабыл об этой поездке, да и великана водителя не было повода вспомнить. Заботы, дела, новые встречи часто вытесняют из памяти ушедшее или отодвигают в такие глубины, из которых всплывёт лишь случайным промельком не сам человек даже, а случай, с ним связанный. Нет-нет – а, проезжая пустынную долину, вспоминал я гибельный переход сайгаков и мутное чувство своей человеческой вины перед их гибелью...

Только однажды мой приятель, что доставал тогда машину под зерно, привез охотничий нож. Красивый нож привез мне приятель.

– Совсем забыл было. Давно ещё Лёнька Большой велел тебе передать на память, да закутился я тогда. А он уволился вскоре. Подожди... говорил он тогда, что не мог того чучела видеть... какого, кстати, чучела-то? Противное, говорил, зрелище, а мародёров, мол, всех с борта не собьёшь. Из тех рогов он ручку сделал. Классная ручка, между прочим. Ты с ним поохотился на сайгу? Он-то, – продолжал приятель, – он зарвался, дурак, всё доказывал что-то... из правдоискателей, знаешь. Вот и доискался: выехали они как-то с начальником колонны на охоту, тот ещё из гаишников чина прихватил. Так Лёнька их обоих за что-то высадил в поле и оставил, представляешь? Год получил, условно, правда, но права у него отобрали. Видел как-то – грузчиком на табачке работает, самое его дело при такой силище... пьёт, наверное. А нож знатный он тебе соорудил!

Вот так и оказался у меня этот охотничий нож. Такого красивого, настоящего охотничьего ножа у меня никогда не было. Лезвие его тщательно, до зеркала, отшлифовано, стремительно выдвинут острый, чуть изогнутый нос клинка. Хорошо и плотно лежит в руке ручка из янтарного рога (и как угадал, ведь не по своей же громадной ручище делал!), каждое выпуклое кольцо рукоятки на месте. Прямо вливается в руку каждое кольцо... того рога, что оставил себе Леонид на память о ночной поездке и позёмке, о том пронзительном ветре долины Иссущающая, о том снеге, что заметал свежие, розоватые в свете фар пятна крови на утрамбованном насте дороги...

ИЗ ПУСТЫНИ

ПУСТЫНЯ



...ВЕТЕР дует порывами, несёт над землёй острую снежную крупу пополам с пылью и песком. Солнце поднимается нехотя, как бы плавая в полупрозрачной дымке, и медленно разливает свой свет на безрадостную, безликую равнину.

Глинистая земля, лишь кое-где прикрытая пролысинами хрупкого снега, кажется, не может родить никакой жизни: редкие кусты жёсткого биюргуна и дрожащие побеги полыни смотрятся сиротливыми и случайными.

Никакой дороги или тропы не оставляла на себе промёрзшая почва, а случайный след почти сразу стирался ветром. Беда путникам, затерявшимся здесь, в стороне дорог и ориентиров. Кажется, и время здесь движется по-своему, отмечая лишь вековые да тысячелетние мгновения. Ровная земная гладь теряется, тонет где-то в зыбком горизонте, а он колеблется и мерцает – то ли небо впереди, то ли море...

Неопытному человеку даже солнце в такой зимний день не послужило бы путеводом: на небе, кроме истинного, столь же ясно видны несколько ложных солнц, обведённых кругами. И это не странность, не мираж даже, а лишь холодное свойство сильного преломления лучей, вовсе не редкое в этих пустынных местах.

Несколько солнц да медленно парящий орёл, выискивающий редкую жертву... И тишина, не нарушаемая даже орлиным клёкотом.

Но мало кто решится быть зимой на Устюрте, вне людей, вне дорог и близкого пристанища.

Чуть переместится солнце – впереди может открыться тёмная гряда.

Такая же, что возникла сейчас чуть в стороне и сзади. Кажется, совсем рядом поднимаются горные кряжи – это видны истонченные водой, солнцем и ветром, излизанные бывшим здесь тысячи тысяч лет назад морем, отвесные стены впадины: она была когда-то дном того моря, и стены те подобны чинку, что окружил всю пустыню крепостной стеной. И хотя до стен этих, быть может, не один десяток километров, кажутся они близкими, совсем рядом – всё то же обманчивое преломление лучей, подстраивающее сказочно-обманные миражи на пустынном месте...

Мглистые солнца освещают многоцветные обрывы, которые будто созданы для иллюстрации геологического атласа своими многослойными разрезами, тысячелетними напластованиями и образованиями, вскрытыми ветрами и весенними спадами редких вод. Грибовидные останцы, гигантские шары спрессованных временем песчаников; причудливые громады на тонких основаниях выдуваются по частицам и по своему времени рушатся под собственной тяжестью.

Всё напоминает фантастический лунный пейзаж, который не воссоздашь простым желанием и короткой мыслью, а здесь скульптор один – постоянный, вечный, бесстрастный – Природа. И времени у неё много.

Склоны чинков порой напоминают неприступные стены древних замков, хмурых и молчаливых, и – напряжённых. Одно время способно взять эти бастионы... лишь ему они подвластны.

Ничто не нарушает здесь безмолвия, холодного и равнодушного. Лишь ветер, усиливаясь по временам, гудит в неровных изрезах скал, точит новые каменные изваяния...

Местами стены выветрены и поднимаются ступенчатыми широкими платформами-террасами. Кое-где видны никем не копаные пещеры и углубления. Иногда склоны осторожно и мягко, будто опасаясь нарушить покой, сползают вниз длинным – в несколько километров! – языком гигантского оврага с рельефными оголёнными стенами.

По дну такого ущелья, защищённого от ветра и резкого солнца, скачивается весной и застаивается редкая снеговая и дождевая вода, она вбирает в себя соли и тончайшую пыль, нанесённую в щели, затаины, трещины камней. Благодаря воде здесь всегда зеленеет кустарник, даже зимой тускло шуршит жухлый тростник.

И в пустыне всегда теплится жизнь. Всякая. Разная...

ГЛУХОЕ УЩЕЛЬЕ

...ВОТ СЮДА-ТО вниз и спускался старый тяжелорогий муфлон. Баран шёл к слабому, чуть сочащемуся родничку на самом дне ущелья, возле которого заманчиво желтел тростник. Он спускался от террасы к террасе одному ему ведомой тропой, постоянно останавливаясь и прислушиваясь, готовый в любую минуту вновь взбежать по еле осязанным



трещинам и чуть заметным выступам к своему недоступному отстойнику.

Седина густо подбила его большой меховой подвес на груди. Загнутые рога были выщерблены в прежних поединках, в которых ему приходилось отстаивать право продолжателя рода. Широкая спина, прежде рыжеватая, побурела от возраста: напряжённые ребра проступили под шкурой, а колени уже начали отекать, хотя ноги ещё не потеряли своей упругости и силы.

Он был один – почему он один? Ведь теперь не время быть одному? Кто знает это...

Ещё недавно, и двух месяцев не прошло, вёл баран свою последнюю и единственную подругу к постоянному водопою у останца, по ту сторону этого чинка, над впадиной. Грохот раздался вдруг, хотя ничто не предвещало угрозы. Муфлон испугался запаха свежей крови, что вытекала из его баранухи, и долго-долго бежал от террасы к террасе, пересекая лишь ему известные разрезы. Все собратья его ушли в другие места, но он был слишком стар уже, чтобы покидать привычное. Здесь знаком каждый выступ, каждый спасительный поворот набитой над пропастью тропы... Теперь он был один в Карагие.

Много раз старый муфлон по весне спускался в это глухое ущелье. Здесь, у самых обрывов, зеленела желанная трава. Здесь всегда ему было спокойно – достаточно нескольких минут, чтобы в случае опасности вскочить на спасительную стену.

Но на этот раз его давно ждали и высматривали внизу затаившиеся острые глаза... пара... две... три... Упрямо ждали, глухо и молча, у них хватит терпения надолго, на часы, ибо секунда нетерпения – это голод, это ещё один упущенный шанс выжить.

Баран спустился на самое дно принизменного чинка, постоял неподвижно: лишь чуткие ноздри подрагивали, ловя воздух, да в напряжении подёргивалось ухо. Ничего не почуяв и не услышав, он начал обрывать сухие, жёсткие стреловидные побеги.

Трое волков, напряжённо вливая тела в каменистую землю, тоже подрагивают ноздрями от раздражающего запаха желанной добычи, которая спокойно передвигается на высоких и сильных ещё ногах вверх по языку ущелья, теряющегося где-то далеко. Оттуда потихоньку тянет

ветерок, и этот запах, плывущий к ним со сквозняков, заставляет каменеть мускулы. Глаза хищников скашиваются порой на сторону, но они скорее чувствуют, чем видят: там – чуть выше и в стороне – осторожными толчками и медленными полуползками пробирается по каменному карнизу четвёртый охотник, их волчица.

И волки ждут, когда она будет в том месте, где сможет отрезать этому старому муфлону путь на его стену, на которой он станет недосягаем для врагов.

Медленно проходит час. Куда времени здесь спешить?..

Быть может, слишком пристален был чей-то голодный взгляд, но вот старый баран насторожился и сразу, ещё не понимая до конца опасности, сделал несколько скачков к желтоватой, лишайником поросшей глыбе, что вплотную прилегала к почти отвесной стене.

Вскочив на глыбу, муфлон обернулся: три волка, постепенно расходясь в стороны, мчались на него. Один из хищников уже поднимался по карнизу, другой был чуть ниже, а третий бежал по самому дну, отрезая возможный путь на другую сторону. Умелыми загонщиками были волки.

Но муфлон и не думал отступать назад: прямо от глыбы начиналась едва заметная тропа, по которой ему-то легко можно подняться сразу на несколько площадок вверх. Не очень торопясь, баран побежал по террасе, изредка даже останавливаясь и оглядываясь на преследователей. Волки оставались на том же расстоянии, не приближались, но и не отставали. В тишине было слышно их дыхание.

Муфлон поднялся ещё уступом выше. Он не очень беспокоился – несколько прыжков, как это бывало всегда, и он перейдёт черту доступной врагам дороги. Трое серых разбойников, каждый по своей скальной тропе, продолжали преследование, уже не пугающее горца.

Когда муфлон едва заметными касаниями копыт поднялся ещё выше, ветер дохнул на него страшным запахом. Так близко он никак не ожидал ощутить опасность: чуть выше, почти над его головой, осыпалась щёбёнка и мелькнула буроватая зловещая тень. Волчица подошла вовремя.

Старый баран даже приостановился от неожиданности, но возбуждённое постанывание сзади подстегнуло его. Он побежал по скальному прилавку, уже оглядываясь и всей кожей ощущая над собой опасность. Промедление приблизило к нему нижних преследователей, но они были бы не страшны, не будь этой неотступной тени над головой...

Волчица не отставала, но и не торопилась – она знала, где муфлон сделает новую попытку оторваться от неё и подняться вверх. При первой же возможности она поднималась выше и снова бежала параллельно муфлону.

Вот опытный рогач попытался, срезая небольшой угол, почти по отвесной стене перескочить наверх, но чуть не столкнулся с клыками. Тог-

да он, не останавливаясь, прыгнул обратно вниз на несколько метров. Такие прыжки всегда выручали барана – волку, даже самому ловкому, подобные трюки недоступны. Высота была стихией муфлона, и он всегда мог уйти от любого преследователя.

Но старость и одиночество плохие союзники: в этот раз муфлон не рассчитал прыжка. К месту приземления уже примчались сразу два волка. Один из них почти на лету вцепился ему в лопатку, но муфлон рванулся в сторону... Дальше полёт стал неуправляем. И то, что вместе с ним летел, сжимаясь и хрипя, волк, вряд ли примирило с концом последнего муфлона впадины Карагие.

Тяжело упало где-то внизу грузное тело. Хриплый вскрик подвёл итог последней охоте волка. Донёсся шум осыпающихся камней, потом слышалось довольное повизгивание самого нижнего зверя, который не стал ждать ни другого товарища, ни осторожно спускавшуюся старым надёжным путем волчицу...

Медленно, словно нехотя, поднимается тусклое солнце. Медленно сочится по трещине в скале тонкая пыль, и кто знает, сколько ещё времени пройдёт, пока истончит та пыль вместе с водой, ветром, морозом и солнцем огромные загнутые рога старого муфлона, выщербленные во многих боях за право продолжения рода...

У природы много времени, но на созидание уходит его непредставимо больше, чем на разрушение...



НАЙДЁНЫШ

...И ВОТ весенний ветер проносится над Устюртом. Ветер этот густ и непривычно влажен. Вместе с мартовским солнцем слизывает он редкие островки снега, размягчает солончаки, шелестит упругими остьями случайных кустиков прошлогоднего биюргуна. Разбиваясь у подножия скал, гудит и свистит в щелях и трещинах каменных глыб, пробует обогнуть кольцевидные выступы круто взлетевшей стены чинка, в последнем усилии поднимается по штопору карниза, умиrotворяясь и ворча, и шевеля на террасах солоноватую пыль. И обессиливает ветер только у самой площадки, на краю которой стоит рыжеватая дикая барануха.

Отрешённый взгляд и грузный живот говорили о скором появлении нового по-

томства, самка муфлона пригрелась на солнце и словно прислушивалась к тому, что происходит внутри нее. В глубине площадки стояли две молоденькие самочки и сеголетка с небольшими пока рожками. Обе молодухи впервые встречали свою третью весну, утяжелённые плодом будущей жизни. И это непривычное состояние тревожило их, со страхом ощущали они изменения в себе и невольно осторожнее выбирали тропу, что-то толкало их на поиск новых укрытий. Порою они беспричинно раздражались друг на друга или на вертевшегося вблизи сеголетка – сына старой баранухи. Время от времени то одна то другая из молодух обращали растерянный взгляд в сторону старшей товарки и жалобно, почти неслышно блеяли, будто спрашивая её совета или объяснения – почему вдруг страшнее стало жить?..

Старая барануха не обращала на них внимания, она неловко переступала передними ногами, словно надеялась разогнать отёчность, оплавившую колени. Вдохнув слабые запахи ветра, барануха медленно пошла по тропе вдоль террасы, которая вела к утрюмому ущелью.

Несколькими террасами выше начиналась чашевидная равнина. стеснённая скалистыми уступами. Там, на краю площадки, над террасой виднелся силуэт большого муфлона. Белёсое от весенних испарений небо колыхалось у его тяжело завитых рогов. Муфлон, ещё недавно ни на шаг не отпускавший от себя своих подруг, сейчас не обращал на них внимания. Жалкие кустики промёрзшей за зиму полыни, что попались ему в выемке у большого валуна, значили для него теперь больше. На той же равнине в скалах паслось еще несколько взрослых баранов, которым также не было дела до тревог самок. А то время, когда бараны были готовы разбить друг другу лбы в боях за подруг, – то время ушло... до следующей осени. В лучшем случае прокричат теперь они сигнал тревоги. Примут ли самки сигнал, это уже их забота.

...Ягнёнок только что появился на свет. Он лежал на щебнистой земле в заветренной нише, вход в которую скрывал острый уступ, ребром нависший над тропой,

Старая барануха, ноги которой еще подрагивали от слабости, торопилась вылизать новорождённого. Беспцеремонно развернув его носом, мать жёстко очистила мордочку с ещё закрытыми глазам. Словно массируя, принялась вылизывать бок малыша с такой силой, что ягнёнок сдвинулся в сторону. Чуть заметно поднимались и опадали его бока с рыжеватобурой шерстью, тёмной от влаги. Ягнёнок несколько раз пробовал открыть рот, и мать снова обликала заострённую зализанами мордочку.

Резко выдохнув, ягнёнок заверещал неожиданно и громко, блеяние его больше походило на грубое мяуканье сипловатого кота. Но для матери этот крик был самым главным сейчас и, наверное, самым нежным, и она энергичнее принялась вылизывать хрупкую спинку. А ещё мутноватые глаза малька впустили в себя свет первого утра,

Вскоре ягнёнок попытался подняться, подбадриваемый лёгкими тычками материнского носа. Трудно это у него получалось: ноги подламывались, держать никак не хотели и заставляли валиться на бок. От матери шёл запах, который он, живущий лишь минуты, уже откуда-то знал. Барануха поворачивалась к нему боком и задом, вновь нетерпеливо подталкивала и облизывала, а малыш снова и снова делал попытки подняться и удержаться на раскачивающихся прямых ножках. Пока не ткнулся в наполненное молоком вымя. Потом здесь же – под материнским боком – ягнёнок лёг на бок, свернулся и сразу уснул.

Старая самка муфлона вышла из ниши, огляделась, постояла, двигая ушами и чутко поводя ноздрями. А убедившись, что нет угрозы её спящему отпрыску, трудно и осторожно стала подниматься выше, чтобы найти хоть какой-нибудь корм. И воды, воды... Бока самки резко ввалились, шерсть потускнела; казалось, даже кости у щёк её заострились и резче обозначались провалы вдоль скул. В разрезе скалы на пути попался ей язычок серого снега, который и принялась она торопливо глотать, впрочем, не переставая изредка поднимать голову и прислушиваться.

Отсутствовала самка недолго, да и не уходила далеко. Тревога за малыша заставляла её наскоро хватать на коротком пути удобоваримые былинки, хотя разбуженный снежной влагой голод звал её поискать траву получше. Впрочем, независимо от пустого желудка и никак не проходящей слабости, вымя вновь наполнялось молоком.

Когда барануха вернулась в нишу, ягнёнок всё так же лежал, изредка подрагивая во сне. Лизнув его, мать с коротким стоном улеглась рядом, прикрыла глаза. Лишь уши дергались, улавливая малейший шорох. Но вокруг было спокойно, и только ветер гудел в отдалённых изрезках скал, да где-то осыпалась каменная труха.

Метрах в трёхстах отсюда, среди каменных изломов, постанывала и крутилась на месте, пытаясь схватить неизвестно откуда пришедшую пульсирующую боль, молоденькая самочка. Она была напугана этой болью и какой-то неизвестностью, накатывающейся на неё вместе с толчками внутри. Наконец её растерянное блеяние слилось с новым, более слабым, но и более требовательным «меканьем».

Болезненное блеяние молоденькой самочки было услышано лишь одним живым существом: несколькими террасами ниже бежал своей дорогой старый лисовин. Он остановился, уловил и другой – сорвавшийся и слабый – голосок. Лис знал, что это могло означать его возможную добычу... в ближайшие дни. Он внимательно посмотрел наверх, облизнулся и, раздражённо дёрнув хвостом, побежал по своим лисьим делам...

Спустя несколько дней старая барануха вывела своего малыша из ниши. Она не торопилась, и ягнёнок бойко поспевал за ней. В отличие

от матери, бока которой по-прежнему были ввалившиеся, сынок заметно покруглел, лёгкий ветер шевелил на боках его мягкую, ещё в нежных курчавинках, шерстку. Он уже весело подпрыгивал вслед за матерью, которая старалась выбирать не очень крутые подъёмы. Уже через сотню метров ягнёнок начал уставать: пытаясь вслед за баранухой обогнуть на склоне большую плиту, неловко оскользнулся и вместе с гравием съехал на тропу. И заметался, и тревожно заверещал, не умея обойти препятствие.

Мать быстро вернулась и теперь повела его другой дорогой, по пересекающей склон ложбине. Ей нужно было хоть немного поесть, но даже голод не притупил осторожности. При выходе в долину барануха топнула ногой и выдавила чуть слышимый звук, который заставил ягнёнка забиться в камни и затаиться, слиться с ними.

Самка муфлона оглядывала долину, внимательно внюхивалась в ветер. И ещё раз повторила сигнал тревоги – «кшхы-ы».

Мать-муфлониха не видела, не слышала и не чуяла в воздухе ничего опасного. И всё же ощущение опасности не проходило, ноздри трепетали – пытались найти подтверждение разбуженному страху. В другое время барануха легко ушла бы по склону – оттуда легче и безопаснее распознать причину беспокойства. Но сейчас... сейчас в нескольких десятках метров затаился детёныш, и жизнь его зависела только от материнской осторожности... а может быть, от её безрассудности. И самка, всё так же изредка повторяя сигнал опасности, выскочила на ровное место.

Этот сигнал – теперь она намеренно кричала всё громче – обязательно должен был привлечь к ней внимание врага, если он был, а врага нужно любой ценой отвести от малыша!

Выскочив, барануха ещё яснее ощутила основательность тревоги: за ней следил чужой взгляд, неизвестность и непонятность которого сковывала ужасом горло и заставляла крикнуть ещё громче и напрячь все силы, чтобы уйти от этого места. Но другая сила – вечности материнской озабоченности и обречённости – двигала её ногами и приближала к этой опасности, осязаемой всей кожей...

– Смотри, какие круги делает, – только губами шепнул один из притаившихся за грядой людей.

– Стреляй...

– У нее здесь ягнёнок: вон какие круги... и верещит!

– Стреляй! Ягнёнок тоже возмём...

На выстрел, сухим гулом разлетевшийся окрест, поднял голову старый лис, давно уже не отходивший от «яслей» молоденькой самочки. По крутому склону от своей кормовой площадки взлетели четыре разновозрастных самца-муфлона, пробежали метров триста, и лишь тогда остановились, чтобы понять причину грохота и тревоги. Где-то пробу-

дился волк, тяжело встал с нагретой дневной лѐжки и ушѐл дальше в глухое ущелье.

Старая самка лежала на боку, кровь ещѐ пульсировала в еѐ горле, а глаза уже остыли, и отражения скал в них погасли. И стрелок уже разделявал тѐплую тушу.

– Ищи, ягнѐнок где-то рядом. С этой нечего почти взять – старая и худая... – крикнул он.

– Эх, надо было Шарика взять! Нашел бы ягнѐнка, да ещѐ нажрался бы впрок.

– Он бы тебе наохотился – всех разогнал бы на десять километров, да ещѐ и свалился б куда... – проворчал первый, ловко обрезая сухожилия.

Ветер дул всё сильнее – холодный, насквозь пронизывающий ветер. Второй охотник вернулся:

– Может, его и не было?

– Ладно, всё не зря приземлялись. А ягнѐнок всё равно погибнет, искать лучше надо было... вымя вон полное...

Мальш не знал, что матери его больше нет, но приказ еѐ исполнял точно. Он вжался в небольшую норку, образованную при соединении двух глыб камня, и не шевелился. Недавно выпитое молоко и трудный переход заставили его уснуть.

...А возле молоденькой самочки тем временем кружил другой охотник. Всё тот же старый лисовин, словно подстѐгнутый выстрелом, тьявкал на растерянную дикую овечку, и шѐл за нею следом, и словно поддавался на еѐ уловки, которыми она отводила его подальше от первого своего ягнѐнка. Лис не испугал бы еѐ прежде – это не волк, что он может ей, такой большой и ловкой, сделать? Но отвести его от детѐныша она должна была.

И молодая мать топала на лиса ногой, мекала своему свернувшемуся калачиком малышу, приволакивала ноги, уходила метров на двадцать-тридцать от лиса и снова ждала его приближения. Умудрѐнный лисовин подыгрывал ей, скалился всей узкой мордой и подкрадывался, смеясь, к баранухе. И самочке казалось, что она уводит лиса от ягнѐнка. На самом же деле он «заманивал» неопытную овечку, заставляя делать круги все дальше от заветного тайника.

И вдруг... она оглянулась и не увидела лиса там, где он должен был находиться: старый шельмец нырнул в удобный отщелок и самым коротким путѐм побежал к обречѐнному ягнѐнку, которому уже не суждено было стать муфлоном...

Когда обеспокоенная молодая мамаша, торопясь и оглядываясь на исчезнувшего врага, вернулась к своему малышу, здесь было всё кончено. Лис скрылся за камнями, завидев еѐ. Ягнѐнок не шевелился и не вставал, хотя самочка толкала его носом, пыталась лизать и крутилась вокруг, подставляя набухшие сосцы и зазывно поблеивая.

Похолодевший через несколько часов ягнёнок напугал её. И она ушла из укрытия, и долго ещё бегала и бродила вокруг, тоскливо-безнадёжно призывая его к себе. Спустилась ночь и скрыла торжественный пир старого лисовина, нагнала дрожащую дрему на усталую овечку, дергающуюся и поблеивающую во сне на верхней террасе чинка...

С рассветом осиротелая мать-муфлониха ещё раз вернулась на место окота. Но там не осталось ничего, кроме запаха псины, оставленного лисом: недоеденный трофей свой хищник предусмотрительно утащил с собой. Самочка, гонимая голодом, жаждой и тоской, которую ещё больше обостряло скопившееся молоко, ушла наверх по знакомой ложбине. Там могла она найти утоление голоду и жажде, там надеялась она увидеть кого-нибудь из своих сородичей.

Ниже уступа, на котором остановилась муфлониха, открывалась мягко спадающая вниз ложбина. Здесь самочка, скорее по привычке, долго ловила воздух и прислушивалась.

Всё вокруг только начинало приобретать свои формы в сером утреннем воздухе, дрожащем в ожидании солнца. Лёгкий ночной мороз оплывал и поднимался чуть ощутимыми испарениями, в невидимых волнах которых отдалённые скалы да грибоподобные, или похожие на столбы, или шаровидные останцы, казалось, тихонько раскачиваются.

По другой стороне впадины уходила вверх тропа, она тоже словно колебалась и вибрировала, хотя никого на ней не было. И ничто не нарушало здесь нетронутой, полнейшей тишины, даже обычный ветер, казалось, задремал где-то в пути...

Робкое слабенькое блеяние, почти затаённый детский выдох заставили часто забиться сердце одинокой муфлонихи.

Она резко повернула чуть горбоносую морду с застывшими на углах глаз слезами. Повернулась в сторону камней, из которых донеслась до неё слабая младенческая жалоба. И коротко, призывно «ке-екнула».

Спотыкаясь, теперь уже громко и требовательно похныкивая, к ней спешил рыжеватый ягнёнок.

Копытные редко на свободе воспитывают чужих детей: из десяти перепутавшихся малышей даже в большом стаде и кидающихся навстречу любой кормящей самке детёнышей мать безошибочно, по ей одной известным признакам – хоть ослепни она и оглохни! – узнает одного, своего. И только его допустит к благой струйке молока. Любого чужого оттолкнёт она бесцеремонно, переступит через самого голодного, лишь бы накормить – единственного...

Этот ягнёнок, так и не дождавшийся матери, был обречён. Если не станет он лёгкой добычей первого же хищника на земле или с неба, то наверняка погибнет голодной смертью даже в стаде: ведь пройдет месяц, чтобы научился он немного поддерживать себя травой.

Но взволнованная самочка дождалась ягнёнка. Чтобы убедиться –

чужой... И резко оттолкнула его, без тени сомнения нырнувшего на заветный молочный запах. Перепрыгнув через чужака, побежала прочь – вниз, к собравшейся в лунке талой воде. Побежала, посылая новые призывы своему утраченному детёнышу.

Ягнёнок-сирота заторопился следом, жалобно помякывая: в этом возрасте природа предусмотрела, чтобы детёныш спешил за движущимся – так меньше шансов потеряться, особенно в стаде, где один из взрослых обязательно приведёт к остальным, к матери.

У этого малыша её уже не было. Но он бежал, и спотыкался, и звал.

И в этот раз – быть может, единственный из тысячи – сироте повезло. Самочка была молода, её мучила жажда, вымя горело от невысосанного молока, готового свернуться, а жалобы ягнёнка так напоминали голос её первенца... И ткнувшись с разбегу в сосцы мордочка принесла такое томящее облегчение! Первые же струи молока прорвали барьер чуждости.

И когда самочка, напившись, повернулась к малышу, ёрзавшему у неё под брюхом, она ощутила привычный запах, и толчки тоже показались ей знакомыми.

Ей оставалось только облизать забрызганную молоком мордочку и навсегда забыть об утрате в скалистом углублении чинка, пахнущем псиной и убийством.



НОЧЛЕГ

...КОНЬ у меня хороший. Год жизни на ипподроме сделал его немного высокомерным, зато дончак мой не боится выстрелов даже с седла; он ждёт меня, где оставляю, и подходит на свист.

Достался мне Рэд случайно. После окончания сезона бегов совхоз забрал трёх жеребцов-двухлеток домой, директор попросил меня подержать их до табуна, который должен пройти мимо моего кордона. У меня был удобный загон, трава почти в поясе, родник. Около месяца пробыли кони у меня, потом их отогнали.

Но за это время мы с Рэдом успели подружиться, а в табуне ему явно что-то не показалось: че-

рез несколько дней жеребец сам вернулся в мой загон. В косяк по молодости ему было рано, продавать его не собирались, ездить же по горам на таком высоконогом и норовистом жеребце никто не хотел. Так что мы с совхозным зоотехником ударили по рукам, подкрепили договор хорошим обедом. И Рэд остался у меня.

Хороший он конь, но хитрый. Притвориться умеет так, что, глядя на него, хочется повернуть назад – к дому, где спокойно, где ему сено не надо выискивать по былинкам, где вовремя по часам – зерно... Стонет, хрипит и кашляет, приволакивает ноги, будто кляча, принуждённая тянуть поклажу непосильную. А шея тугая выгнута, чтобы одним смеющимся глазом хозяина видеть – повернёт или не повернёт?! А попробуй повернуть домой – в такой галоп ударит, аж глаза на ветру слезятся. И хрип надсадный исчезает, и ноги струнами зазвенят, и глаза заблестят, довольные. До-мой-ток-цок-до-мой!.. Со стороны – ровно факел летящий: красный конь, потому, наверное, кто-то Рэдом и назвал. До-мой-ток-цок...

Ну, нет! Давай-ка, Рэд, вперёд! Камча звенит по сапогу – вперёд! Ведь только что из дома выехали, снег хрустит под копытами, солнце веселится и слепит глаза – вперёд!

Вон, собаки уже засомневались, укоризненно смотрят: неужели не пойдём дальше, опять дома сидеть, редких проезжих облаивать? И самому ведь тебе уже не терпится размяться, вверх-вниз по щели, с холма на холм по взбитой тропе. Впе-е-рэд!

Вот Рекс залаял вопросительно: стая кекликов впереди перебегает тропу, к верхушке гряды каменной, дымящейся под солнцем, торопится. Нет, Рекс, пусть бегут, стрелять не будем – январь, им и без нас до весны нелегко дотянуть. Стрекохут, рвут голубой морозный воздух крылья спугнутых куропаток. Трещат, роняя ночной иней, иссохшие редкие кусты. Косится на треск повеселевший конь – вперёд!..

Волчок, промысловая лайка, выгнал лиса. Пламенем мечется зверь, раскаляется лай собаки, сливаясь в одну визгливую ноту, стре-е-еляй-яй! Потом на другой стороне небольшого хребта: стре-е-еляй-яй-ай!..

– Тр-рах-ах-ах, – выстрел.

Сухо. Точно. Чужой выстрел, не мой. Чей же?

– Вперед, Рэд.

Вот теперь покажи, что здесь никто ни в рысях, ни в галопе не обойдёт тебя, вспомни свои гонки ипподромные и наши с тобой разминки в горах. Там, где сейчас хрустнул выстрел, где молчит наш пёс возле уткнувшегося носом в собственный хвост лисовина, – там наша работа. Наш Волчок не пустит к поверженному лису никого. И Рекс – лайка-переродок, замешанная на волке, – чуть прихрамывая, ушёл на помощь.

Слышишь их лай за перевалом – вперёд! Туда, где откатилось в рас-

щелины и утонуло в засугробленных кустах окаменелого саксаульника эхо выстрела, где покойно лежит лисовин на покрасневшем под ним снегу... Вперёд...

Где стоят две мохнатые лошадки под старыми сёдлами. Где они, довольные непредвиденной остановкой, спешно обрывают торчащую над снегом жёсткую траву. Где их хозяева в потёртых полушубках не могут подойти к добыче из-за скалящихся собак.

Надо спешить, Рэд, иначе наших собак, чтобы не мешали и не задерживали, сейчас пристрелят рядом с выгнанной ими лисой...

– Опустит мултык*! – Два человека одновременно оборачиваются на мой окрик, на хруст снега под копытами.

Я спрыгиваю с жеребца: начинается служба, и не самая приятная её часть.

Подхожу к тому, что с мелкокалиберной винтовкой. Ему уже понятно, что будет, но надежда ещё мелькает в улыбке. Здравуемся за руку. Другой рукой берусь за приклад винтовки: «Твоя?». Он уже закинул оружие за плечо. Вытаскиваю затвор, патрон выскакивает и зарывается в снег.

– Эй, не бери. Чужой мелкашка! Назад затвор давай...

– Теперь поговорим. – Затвор кладу в карман. – Откуда, охотники?

– Разве не знаешь? Табунщики... с третьего отделения – не охотники...

– А табун где?

– Во-он, внизу пасётся. Затвор давай, друзьями будем. Летом кумыс пить будем! – смеётся. – Волка много ходит, табун беречь надо.

– Вот он, твой волк, – киваю на лисовина. – Козёл бы бежал, тоже стрелял бы? Стрелял бы, чего там говорить... Меня знаете или документ показать?

– Козёл не надо, свои бараны есть. – И с надеждой: – Поедем: молодого барашка съедим, чего здесь кататься?

– Так знаешь?

– Знаем-знаем, старший егир ты, охотнический инспектор. Эй, затвор возвращай, мелкашку у друга взял...

– Правильно, егерь. А оружие это запрещено, ты не хуже меня знаешь. И охотиться тоже нельзя. Давай-ка ружьё!

Отдавать он, конечно, не хочет. Разговор ведётся долго, медленно, я убеждаю больше себя этим разговором: винтовку надо изъять, стреляют – кто попадётся, не понимая до конца ни причин запрета, ни последствий, стреляют – так повелось, так привыкли. И поэтому трудно отнимать. Да и не принято здесь – все соседи, хоть на сто километров живи друг от друга – сосед. Без разговоров, без долгих объяснений и выяснений – кто чей друг и кто кого знает – не обойтись. Сегодня в округе все чабаны, табунщики, женщины – будут знать, кто отнял, зачем отнял... Конечно же, отдавать ни за что он не хочет. Я потянул

ремень, перехватил у ствола. Второй подошёл ближе. Совсем молодой, я раньше его не встречал.

– Жеребёнка из табуна подстрелю, как тебе понравится? – спрашиваю.

– Эй, табун государственный, зачем равняешь, – смеётся.

– А лес, а горы, а зверь в горах?

– Сам родится, бог дал!

– Детей много?

– Семь. А у него двое – молодой, только из армии пришёл.

– Вот мне и хочется, чтобы дети – твои, его, мои – тоже зверя живого увидели. Скажи, раньше здесь козла тоже мало было, всегда пусто здесь так?

– Раньше каракурюк* табунами у твоего дома ходил, сайгак бегал. Барана легко найти можно было, в чинки мало кто ходил...

– Вот так, бог-то ни при чем, И – хватит. Сдай оружие!

Винтовка у меня в руках. А они – оба держатся за ремень.

Теперь просто нельзя тянуть время, да и глупо это, на игру какую-то похоже: уговариваем, толкаемся, тянем в стороны. И собаки рычать начинают – не нравится им эта игра. Быстро одной рукой перехватываю винтовку, другой вытаскиваю нож. Хорошо, что он острый – одно прикосновение, ремень остаётся у них, мелкокалиберку отношу к Волчку: «Охраняй».

Теперь тороплюсь написать акт, заведомо зная, что фамилии чужие. Тороплюсь, потому что не очень приятно смотреть на их просящие лица – никогда, видно, к этому не привыкну.

– Вот здесь распишись, возьми второй экземпляр.

Привязываю к седлу винтовку и лисовина. Прыгаю в седло, быстро еду прочь, пуская собак вперёд. Табунщик стоит с ненужной ему бумажкой и всё ещё старается поймать мой взгляд. Лошадёнки их отошли в сторону и всё так же торопливо обрывают редкие травинки над снегом.

– Через три дня буду дома, приедешь – поговорим, – стараюсь смягчить ему потерю и собственную неловкость. Всё-таки лучше, когда в таких случаях сопротивляются, хоть руганью: тогда уж знаешь свою правоту и нет чувства неловкости. «Давали бы им ракетницы, что ли: и охотиться не сможет, соблазна не будет, и волка отпугнет...»

Пускаю Рэда быстрее, быстрее.

Хоть и успокаивал я себя, но настроение испортилось. И солнце закатывалось за гору, и мороз давил – короток январский день в горах. А дорога впереди была ещё неблизкая, сложная. До ночлега – два перевала и крутой спуск по ущелью, и снова подъём по вьющейся тропе: там стояла юрта, в которую я ехал.

По извилистым террасам, по щелям и крутым разрезам чинков вниз спускались горные бараны, чтобы укрыться от снежных наносов, чтобы найти корм в местах, сокрытых от ветров и неожиданно сильных сне-

* Каракурюк («чернохвостый» – каз.) – джейран

гопадов. Они спускались туда, где совсем недалеко были юрты и выпасались бараны. Охотников до этой дичи было много, некоторых я даже знал. Мне нужно было по возможности сосчитать муфлонов в этом районе и послушать – выстрелы. Объехать чабанов, но это уже потом. Теперь и так будут знать, что я недалеко в объезде: слух быстро летит здесь, даже удивительно быстро. «Узун-кулак» – так местная «связь» называется, «длинное ухо»...

Вот приеду туда за перевал, а мне Бак, как всегда, скажет, хитренько улыбнувшись: «Заходи, заходи, чай кипит, думал – раньше подъедешь!». И добавит со значением: «Кудайбергену не отдашь мултык? Правильно, а я свой уже спрятал. Если хочешь, сейчас сам отдам!». – «Нет... – как всегда, поддерживаю я игру, – сам не отдавай, везти лишний груз неохота. Вот попадётся – не обижайся!». И выпью кипящего, из самовара, чаю. С молоком.

Перевалы мы прошли быстро, только стало чувствоваться, что конь устал. Теперь он не притворялся, тянул на совесть, потому что напоздали сумерки. Ночью ходить под седлом Рэд не любил. Он знал, что где-то впереди ночлег, отдых, зерно, которое он сам везёт в коржуне, притороченном к седлу. Наверное, перед каждым подъёмом ему казалось: вот за этой сопкой будет привал. Поэтому вверх он старался перейти на рысь, приходилось придерживать, беречь его силы. А за подъёмом был очередной крутой спуск, вдали снова маячил перевал, желанным дымом не пахло...

Он раздражался, похрапывал, мотал головой. И, словно мне в отместку, начинал спускаться жёстким шагом, втыкая ноги в землю так, что у меня ёкало под вздохом. Бока коня потемнели, потом замохнелись инеем. И мне уже хотелось скорее добраться до юрты, расправить затёкшие ноги, выпрямить поясницу, попить хотя бы воды...

Мы въехали на небольшое плато, в сумерках мягко спускающееся к широкому ущелью. На другой стороне виднелся крошечный огонёк юрты. Даже обычной конной тропой, что ныряла в ущелье немного в стороне, а потом выкарабкивалась на другую сторону, этой привычной и набитой тропой было всего около часа езды. Но я решил сократить путь, проехать прямо, и повернул Рэда в сторону.

Здесь вниз уходила на ту сторону самая короткая щель, на дне которой летом сочился слабенький солоноватый родник.

Жеребец неохотно повернул: у тебя, мол, повод – твоя и власть. Пошёл к щели прямо по цельному, отливающему тёмной синевой снегу. Сухой тростник, круто сходящийся к ручью, что катился медленно вниз, затрещал под копытами. Впрочем, сейчас ручей уже не катился он скользил застывшими волнами льда, его вода лишь кое-где вырывалась из-под сугробов, наледей и редких стволов саксаульника, упавших поперек, вмёрзших в ледяные наплывы.

Конь захрипел, он единственного по-настоящему боялся – льда: ему приходилось уже однажды беспомощно скользить на боку вниз, тогда его спасла лишь случайная каменная глыба на пути. Он не забыл, видно, как я подтягивал его арканом к берегу широкой наледи, как боялся он вставать на ноги на этой странной земле, уходящей из-под копыт...

Конь захрипел перед замёрзшим ручьем, я повёл его по другому отщелку. Но этот путь только казался легче, здесь были валуны и жёсткий кустарник, прикрытые снегом. Здесь надо было выпутываться из цепких прутьев, перескакивать через завалы, обходить непроходимые насыпи по крутой стене, что в любой момент могла сбросить тебя набок. Я вёл поэтому Рэда в поводу, ноги проваливались между камней, выворачивались и скользили. Но теперь он доверчиво шёл за мной, уверенный во мне и довольный, что идёт налегке. Он даже временами, догоняя, итрово подталкивал – чего, мол, плетёшься, темнеет!

...А я ещё не ведал, что нам готовит именно этот отщелок. Собаки устало шли по следу. Рекс, у которого неправильно срослась поломанная где-то лапа, лёг отдохнуть на тропе, выгрызая льдинки с пальцев и тихонько поскуливая. Забыл я правило: короткая дорога – не та, что прямая, а та – что известная. И опомнился, лишь когда мы с Рэдом повисли на небольшой площадке, такой маленькой, что, стоя вплотную ко мне, конь положил голову мне на плечо, а грудью давил в спину.

Дальше, в следующем моём шаге, был обрыв метров пятидесяти – вниз, вниз... Один, быть может, я ещё спустился бы. И спускался здесь с трудом летом. Сейчас можно было только – скатываться. Для высоконогого коня это была верная гибель. Для меня – с конём на плечах – тоже...

Мне стало жарко. Наступающая темнота размазывала границу пропасти, но конь уже почувствовал мою неуверенность. Спиной я слышал затвердевшие мускулы его груди.

...Прошлой весной в объезде мы с Рэдом повисали над обрывом в другом месте, внизу торчали нам навстречу скалы. Большая наклонная плита лежала впереди, позади вниз уходила узкая стена, и спешиться я уже не мог. Рэд пошёл вперед, заскользил передним копытами, стал заваливаться влево, поднимаясь на дыбы. Тогда осталось единственное: спасая нас обоих, отдал я повод, и выскользнул из седла назад, и, падая, резко хлестнул коня. Он рванулся, хриплым усилием перескочил плиту. И остановился, оглядываясь на меня и тяжело дыша. А я скользнул по плите той вниз, на узкую тропу, хрустнуло в ноге... Накатилась тошнота, поглощая боль, нога распухла в сапоге, но ползком я добрался к Рэду. Мы оба были живы, часа через три он довёз меня домой, а уже через пару месяцев я снова мог сесть в седло.

Сейчас, как бы ни было мне страшно и виновато, каждый должен

выбираться сам. Я привёл сюда коня, а теперь оставлял: я человек, и человеку не свойственно выбирать между собой и животным...

Осторожно снял я уздечку, надо бы снять и седло, но до него не добраться, для этого Рэд должен сделать хоть один шаг, но делать этого шага ему было некуда. Сбоку, прижимаясь к нему, я осторожно обошёл коня. Он чуть темнел в нескольких шагах, когда я снова встал на тропу. Собаки радостно поскуливали. Волчок уже уходил назад, а Рекс зализывал усталую лапу. «Рэд... – позвал я, – Рэд, фью-ю, иди, иди же ко мне, Рэд!!!».

Он стоял, его напряжение, стремление понять, что происходит, ощущалось в темном морозном воздухе, потом послышался короткий, как стон, вздох коня. «Придумай же, иди сюда, Рэ-эд...» – умолял я, отойдя ещё несколько шагов.

Как развернулся он на месте, как выскочил, обрывая в напряжении подковы?.. Послышалась короткая жалоба Рекса: конь, не выбирая пути, наступил на него. И вот он, мой Рэд, дышит рядом – мне в лицо, в руки, надевающие узду.

В чёрном, без луны, небе сверкают звезды. Теперь назад, до развилки, потом спиральный спуск к замерзшему ручью. И по ручью – скользя, проваливаясь, выкручивая ноги в засыпанных снегом валунах – вниз, вниз, ко дну ущелья... Собаки плетутся, отстают, поскуливает Рекс.

После пережитого Рэд идёт за мной понуро и безразлично, вместе со мной выкручивая свои длинные красивые ноги, с усилием заставляя себя перепрыгивать горбы лежащего саксаула. Я ещё надеялся добраться до юрты, а мороз пробирается в полущубок, немеют ноги.

Где-то в стороне слышится вой, долгий, унылый, жуткий. Собака жмётся к коню, другая отстала. Рэд вздрагивает у меня за спиной, на другой стороне ущелья, там, где должна быть юрта с отарой, раздаётся выстрел. Я тоже стреляю, зову отставшего пса. И конь хрипит – не хочет, не в силах он идти дальше.

...Да, здесь и будем ночевать: большая саксаулина стоит в стороне от наледи, на ровной площадке возле неё мы все сможем разместиться. Рядом есть ещё несколько валежин, тонкие серые ветки хрустко ломаются. Разжигаю костёр. Огонь берётся легко, треск его пугает ночь. Лайка Волчок, облегчённо постанывая, укладывается прямо на снег, Рэд тоже постанывает, пытается тереться о моё плечо заиндевелой головой. Я отпускаю подруги.

Винтовки табунщиков, что привязывал к седлу, нет. Вдалеке слышится лай-поскуливание Рекса. И мне приходится решаться идти обратно по тропе, стараясь не пропустить злосчастную мелкашку, потерять которую я никакого права не имею.

Сапоги, прежде набрякшие от снега, теперь задубели, тяжести их я не чувствую, одно неудобство – переставляешь, будто ненуж-

ные предметы, а тяжесть мнёт плечи, немит шею. Окаменелая кирза скользит на ледяном наплыве ручья. Боком, переворачиваясь на спину, скатываюсь я назад, собирая под себя сугроб снега, которым укрылся поверх льда ручей в этом месте. Скатываюсь и остаюсь лежать так, успокаиваясь собственной неподвижностью. Сверху на меня несётся черное искристое небо. Оно успокаивает, подмигивают звезды. Нет ничего у меня: нет тела, нет желаний, нет мыслей. Становится легко и уютно, покойно и сонно... И – метеорит! Его мгновенный огонь ещё связывал меня с землёй – через множество других глаз, глядящих где-то на него, чужих глаз. Росчерк метеорита предлагал желание, загадывать которое мне было сейчас лень. Метеорит летел, жил и умирал, был фактом, началом и концом чего-то непостижимого и чуждого мне теперь. Какую точку он ставил? Кому задавал он вопрос? Чему восклицал он? Какое многоточие он открывал? Мне было легко и покойно...

Унёсся, погас метеорит. Словно пробуждённый им, ветер сдвинул тишину, сдунул откуда-то и опустил мне на лицо льдистые снежинки.

Снег должен быть холодным, я знал это, помнил, но сейчас не чувствовал ничего. Это испугало и окончательно разбудило меня.

Я сел, нащупал руками опору, ощутил жёсткость земли, услышал поскуливание ослабевшего Рекса. Выше себя по тропе, совсем недалеко, нашёл я собаку, обрадованно метущую хвостом по снегу. Хвост Рекса мешал мне, когда я поднял пса на руки. Но мне надо было донести его к огню, где оставил я другую собаку и коня. Мне хотелось выкурить сигарету, и – согреться, согреться...

Костёр угасал. Я оживил его, наломал ещё дров, раскалывая сучья саксаула о камень. Саксаул колется, как стеклянный. Блики метались в глазах собак и лошади, всё ещё стоящей под седлом. Метались в живой боли разутых, изгоняющих из себя мороз ногах токи крови. Было хорошо рядом с живыми существами, было обнадёживающе – слушать потрескивание углей, снимать седло, укладывать у костра потники кверху напотелым слоем, пристраивать седло в головах. Было хорошо дышать согретым дымом, слышать похрустывание зерна у коня на зубах, пить полузамерзший чай из фляги, видеть подмигивающие бликам огня танцующие в небе звёзды...

Я дремал, обложившись собаками, ворочаясь вместе с ними, подставляя замерзающий бок огню, подбрасывая в полусне костру куски дерева. Изредка пробуждаясь и взглядывая в тёмное мерцание неба, ожидал я начала дня. Снова летел метеорит, высекая вдалеке приглушённую волчью молитву, от которой вставала шерсть на загривках собак и жался конь поближе к костру.

Потом пришёл рассвет – медленный, сонный, зимний. Рассвет, неожиданно расколотый лаем вскочивших собак. Волчок – лайка про-

мысловая и азартная – бросился вверх по тропе-ручью, голося возбуждённо и призывно. Лай звенел в утреннем морозе, метался в стиснутой стенами и наледями щели. Рекс, хоть и остался у костра, тоже загавкал вслед подбадривающе и завистливо. Конь перестал грести копытом снег и, пружиня шею, смотрел туда же...

Я вскочил, сунул ноги во влажные сапоги, вздрогнул от морозности воздуха, взял ружьё. Переломил и проверил заряды. Пошёл туда, где прыгал, уже беспорядочно метался лай.

На небольшом каменном выступе метрах в четырёх над землей сидела рысь. Даже не сидела – вжималась, стараясь слиться с камнем, с травяным пучком, свисающим по стене. Здесь же, почти под уступом, ваялась утерянная ночью браконьерская винтовка. Откуда она взялась, эта кошка? Рысь была красива – прижавшая уши с кистями к голове, напряжинившая короткие лапы под сжавшимся на пяточке телом, она была красива – даже в этом молчаливом оскале, в загнанном внутрь себя отчаянии. Какой путь привел её? Тот же, что нас – меня, Рэда, собак? Да, к зайцам, сидящим на рассвете у каменистых убежищ, к молодым баранам, спустившимся по этим щелям от надвинувшихся наверху снега, ветра, бескормицы, к кекликам, выискивающим скупые зёрнышки... Я поднял ружьё. Волчок залился пуще прежнего. Сзади на помощь, не выдержав, ковылял Рекс.

Природа требовательна к детям своим, но даже слабым даёт она свои преимущества, чтобы не иссяк род. Я вспомнил, по каким стенам взбирались малыши-муфлоны уже через десяток дней после рождения, как плодовиты слабые зайцы, как оповещают всю округу об опасности сурки и укрываются в недоступных норах... Я вспомнил слепых котят вот такой рыси – им ведь не сразу даётся совершенство их матери; и гладеньких птенцов кекликов, которые уже через несколько дней так умеют прятаться, что и не отличишь от окружающих камней. И волчья молитва, высеченная ночью падающим метеоритом, выйдя из снега в колеблющееся утро, тревожила своей безысходностью, пробуждала вину, сулила прощение, звала – жить. Вот они все связаны друг с другом непростыми нитями, и красота, и лёгкость тех горных баранов создана не без участия этой вжавшейся в камень рыси, того тоскующего под метеоритом волка.

Одной тропой шли мы с этой напряжинившейся красивой кошкой. Я шёл – охранять. Кого – муфлонов, кекликов, зайцев? Она, рысь, шла – жить, те зайцы – жизнь её и её детёнышей. От одного врага нет в природе спасения ни одному самому защищённому существу, и тот враг не рискует в охоте ничем, а суд чинит сообразно собственному мимолётному удобству... Так кого же я шёл охранять?.. – и от кого? Я оправдаю свой выстрел хищностью рыси, и она остынет здесь навсегда только потому,

что ей не повезло – встретился ей мой случайный ночлег. Что у меня, ещё не научившегося судить себя, есть вот это заряженное ружьё?

Я закинул ружьё на плечо, подобрал винтовку. Повернулся, ловя растерянные ноты в голосах собак. Я ушёл к месту нашего случайного ночлега. Там ждал меня Рэд. Конь терпеливо и привычно принял тяжесть моего тела. Ночлег наш чернел погасшими, остывшими под набросанным снегом головешками.

Здесь, в этой щели, я терял всё: тело, желания, мысли, память, обретая обманчивую замороженную лёгкость стылого дыхания; утрачивая прошлое, будущее... а настоящее несло в глаза гаснущей точкой метеорита. Какую точку он ставил? Кому задавал он вопрос? Чьей жизни восклицал он? Какое многоточие открывал?

Здесь, в этой щели, заново обретал я всё: затерянную в ледяном ручье тропу, скалы, укрытые снегом и ночью; призывный лай и дым над крышей дома, где ждали меня, если даже исчезал я... навсегда; книги, которые прочитал и ещё должен прочесть; друзей, которых потерял и которые потеряли меня; обиды, которые нанёс вольно или невольно и которые, наверное, нанесу ещё и получу сам; любовь, которую обманул, и любовь, которую оправдал; вину, которую не искупил; дела, что ещё должен сделать. Здесь, в этой щели, заново обретал жизнь. И она стояла уважения к жизням иным...

Мой конь, мой Рэд, мой хитрый красный дончак, постанывал, унося меня от случайного ночлега. Следом бежали собаки, всё ещё недовольные тем, что я оставил красивую дикую кошку на каменном выступе заледенелого отщелка. Болтался привязанный к седлу лисовин, у которого все ночлеги остались позади.

Мы уходили из этой щели теми же, что и пришли сюда... И – другими: на целый ночлег старше, на целый ночлег опытнее. На целый ночлег добрее. Или мудрее?..

ГЛАДИАТОРЫ



НЕТ, ЧТО НИ ГОВОРИТЕ, а падки человеки на зрелища.

Ещё египтяне откладывали все дела и забывали о распрях с соседом, поспешая на гонки колесниц. Остатками римского Колизея и ныне восхищается тысячеголовая туристическая масса: кажется, и сейчас стены излучают многоголосый шум толпы, рёв диких зверей, лязг мечей и предсмертные хрипы гладиаторов, а каменные поры выщербленных

стен сочатся запахами душистых умашений и вульгарного пота, свежеспечённого хлеба и нагретого солнцем песка арены... Автомобильные ралли, футбольные и хоккейные поля, боксёрские ринги притягивают к себе человека магнетизмом страсти, азарта, но главное – воображением себя в роли борцов и, конечно же, победителей. Хилые мускулы человека у телевизора, впившегося в экран, напряжены до предела, это он наносит последний удар гиганту, отправленному в нокаут!..

Вот и я... Пять лет моих были тесно связаны с конём, а порою и сама жизнь зависела от него. И конь носил меня по горным егерским тропам, деля со мной и службу, и опасности, и одиночество. А где ещё в городе найти возможность заглянуть в диковатую лиловость глаз, ощутить мягкую доверчивость губ, принимающих кусочек сахара, нервическую напряжённость мускулов и жажду движения... Признаюсь, наверное поэтому люблю ипподром, его возбуждённое дыхание, запах конюшни,

опилок и жареных семечек, цветковые блики в глазах от мелькания камзолов жокеев и лошадиных тел – вороных, гнедых, каурых и буланых в яблоках. И тебя увлекает за собою эта скачка, сама красота и энергия ритма копытного перебора. Вот уже и ты сам припадаешь к шее твоего коня, вжимаешь колени в его плечи, и грива обжигает тебе щёку, заставляя шептать коню: «Не торопись, не выкладывайся... ещё не время... ещё немного... а теперь – сейчас – алга! – вперёд!». Ты отпускаешь повод, отдавая себя и судьбу скачки ему, твоему красному дончаку... Кто не сидел на коне, тому не узнать той слиянности двух тел и дыханий в единое движение, не ощутить вихревой скорости, оставленного за спиной ветра.

И в этот воскресный сентябрьский день ипподром был полон празднично одетыми зрителями, хотя ни заездов не предполагалось, ни конкур.

И ставок на «тотошке» не делали. Исход праздника был расписан: отмечался День чабана, окончание полевых работ. Солнце уже не обжигало, слабый ветерок ласкал улыбающиеся лица. Городской люд ждал народных игр, разносился запах тлеющего саксаульника и шашлыков, на радио импровизировал очередной акын, подбадривая себя стрекотаньем домбры и неожиданными выкриками шуток. Улыбчивый выдался день.

Первым номером шла игра, издревле любимая кочевниками, чья жизнь накрепко повязана была с лошадью. Что говорить: порою от исхода игры зависело само счастье влюблённого парня-джигита: в нештучной скачке он должен был догнать желанную девушку, у которой, к тому же, в руках была тяжёлая витая камча-плеть – ею наездница умело орудовала при сближении с конём «претендента» на руку и сердце. «Кыз-куу» – «Догони девушку» – называются эти гонки. Азарт скачки, погони, крики зрителей захватывали и девушку, вовсе не желающую сдаваться легко: здесь ведь шла ещё и проверка будущего суженого на ловкость, терпение к боли и умение управляться с конём. Потому и удары камчой наносились нештучные, да и айгыр под наездницей порой оказывался злым и не терпящим преследования.

Вот на дорожку ипподрома вылетают одна за другой пары молодых. Девушки в зелёных, малиновых, голубых национальных камзолах, за спину летит по ветру белый шлейф, будто фата. В звонком галопе прильнут они к шее коня, подбадривая резвость скакуна плетью, со смехом оглядываются они назад – где там пылит джигит, не так-то просто отобрать у неё поцелуй! Публика смеётся, подбадривает, конечно же, девушку, ведь это она рождает интригу гонок, её красотой и изяществом посадки в седле можно любоваться бесконечно... Но вот и финиш близко, вот уже и кони сравнялись, скачут рядом, и парень уже пытается обнять гибкий стан, не обращая внимания на сопротивление и удары, правда – уже шуточные. «Поцелу-у-уй!» – несётся согласный возглас ипподрома...

Следом другая игра, быть может, значительно острее впечатлениями и, уж конечно, более рискованная. Однажды моего друга, приглашённого в американский университет прочитать лекции по философии, повезли на матч по регби. «Как вам наш американский футбол?» – довольно снисходительно спросили. – «Вот настоящий спорт мужчин!» – «Э-э, тогда вы не видели наш казахский футбол... Кокпар называется». И описал, разумеется, в красках. «И всё время не сходя с лошади?!» – «С коня, дорогие, с айгыра – с горячего и злого, и смелого жеребца!».

Так вот: рассказать о кокпаре, конечно, можно, но никакие слова не передадут то столпотворение, ту битву кентавров, что происходит на поле во время игрища, называемого в народе попросту «козлодранием». Прежде это так и было: две группы с лошадьми, назовём их теперь командами, хотя это, скорее, кланы, ревнивые к славе и удалству, занимают супротивные стороны поля. Верхами, горяча и сдерживая до поры коней. Посреди поля судьёй отпускается натуральный баран – так было когда-то, в наше гуманное время ставится имитация туши, набитая травой, опилками шкура, но по весу близкая к натуре. Всадники сближаются – и начинается битва за обладание этим призом, прежде ещё и живым козлом, стремящимся вырваться и убежать. Задача: любым путём, не сходя с коня доставить игрушку-приз до границы поля противника. Только верхом – упавший с седла или рухнувший вместе с конём неудачник под улюлюканье зрителей покидает ристалище. Закройте глаза и представьте: двадцать коней и всадников, кружа и вламываясь друг в друга, свисая с седла и пытаясь ухватить и бросить поперёк седла тридцатикилограммовую тушу (пусть и имитацию оной!), бьются за право вырваться одному или передать напарнику тот приз, чтобы доскакать-донести до заветной границы. Кони в пене и бешенстве норовят укусить ближнего, всадники орудуют руками, ногами, криками, горяча себя, друзей, коней и противников, всё сплавляется в единое многоголовое тело, которое, распадаясь и преследуя, и вновь сливаясь в единый коловорот, медленно колышется то в одну, то в другую сторону поля... А трибуны электризуются так, что хоть заряжай от них аккумуляторы.

Кентавры! Человеко-кони – так, поражённые лавиной верховых скифов, будто спаянных воедино с лошадьё, назвали и ввели в легенды и мифы древние греки кочевников.

И здесь, на кокпаре, уже становится непонятным, где кони, где люди, всё слилось, сплавилось, скрутилось в единый ревуший организм, из которого вдруг вырывается один, растерзанный и пропылённый, несущий добычу... – Кентавр. Его прикрывают напарники, отсекая преследователей ценой даже и сбитой лошади. И вот – победа! Что делается со зрителями, порой до часу вовлечёнными в игрище-битву, можете себе представить: никакие восторги болельщиков при забитом голе или

шайбе здесь не сравнимы. Разве что в Испании на бое быков, венчая победу тореро. Но я там не был.

Однако на этот раз кокпар разыгрался в какие-то полчаса, трибуны даже особо раскалиться не успели. Видимо, так и предполагалось, потому что следом в программе значилась «Охота с беркутом». Многие именно на это редкое зрелище и пришли, с детьми, целыми семьями.

В начале состоялся парад. Степенно и благостно по кругу ехали семь взрослых узкобородых стариков в малахях и чапанах, домодельные сапоги с загнутыми носами были вдеты в кованые стремена, а утварь, включая удобное кресловидное седло, изукрашена медными и серебряными бляшками. Правая рука у солидных всадников по локоть «обута» рукавицей бычьей кожи и лежит на изогнутой луке седла, на ней плавно покачивается орёл-беркут с томагой – таким клубочком, надетым на голову, чтобы птица не отвлекалась. При каждом беркутчи молодые помощники – кайгуши, что на воле выслеживают зверя, поднимают его и гонят, а уже тогда хозяин птицы снимает томагу и пускает беркута в полёт-охоту. Молодые гарцуют чуть позади, не опережая старшего с птицей, в руках у них соилы – дубинки, которыми они жонглируют и фехтуют. Обращаться с дубинкой тоже надо уметь, когда-то это было опасным оружием всадника.

Но вот и сам спектакль «Охота с беркутом» начинается. На длинном шнуре всадник неспешно тянет шкуру, кажется, лисицы. Да, точно – рыжина золотится солнцем, мне со второго моего ряда видно и без бинокля, как метрах в семидесяти беркутчи на пегой, подстать его бороде, лошади подбрасывает беркута, тот, взлетев, почти мгновенно камнем падает на «добычу». Хозяин, подбадривая мерина каблуками, спешит к добытчику, довольно легко сходит на землю и, что-то приговаривая, даёт птице лакомство. Скорее всего, это кусочек мяса – перед охотой крылатого хищника, разумеется, не кормят.

Зрители хлопают, словно в театре или цирке при удачном исполнении номера.

Такие сцены демонстрируются несколькими владельцами пернатых охотников. Меняется «дичь»: заяц, сурок, кажется, дикий «козлёнок»... Публика довольна, однако с каждым последующим выступлением хлопает всё инертнее, словно ожидает чего-то нового. Да, так и есть: в программе написано – «... и охота на волка».

– Каскыра давай! – раздаётся зычный крик с трибуны, на который сначала оглядываются, а затем поддерживают: «Каскыра! Волка давай!».

В природе беркут практически не нападает на этого умного и сильного хищника, разве что на неосторожного волчонка. Да и то рядом могут оказаться взрослые, и ещё неизвестно, кто станет жертвой. И беркутчи редко решаются рисковать птицей – матёрый вовсе не уступит без боя,

охотники могут и не поспеть с помощью, если даже крылатый питомец решится напасть на движущуюся цель.

Видимо, приготовлено чучело волка, решил я, уже собираясь уходить.

Но... Ипподром вдруг возбуждённо загудел.

На поле почти выволакивают на ошейнике... живого зверя.

Вот это меня уже встревожило, и я взял бинокль. «Не может быть...» – шепталось внутри. Оказалось – может: это был хорошо мне знакомый волк.

...Несколько лет назад зашёл я в дом на окраине города, где жил известный натуралист, когда-то давно, чуть ли не за полвека до того, бывший лесничим и оставшимся верным и лесу, и его обитателям. Мы дружили, вместе трудились над издательскими программами, участвовали в конференциях по охране природы, вместе выезжали на егерские кордоны и путешествовали по пустыне на старом «газике». Сколько помню, дом его всегда был полон всякой живности, однажды появился даже подраненный косулёнок, которого он выхаживал, чтобы отвезти потом к леснику – на волю. Что уж там кошки, собаки – здравствовали здесь ушастые ежи, черепахи, доверчиво мог подкатиться под ноги сурок, а во дворе по саду суетились красные большие муравьи, что-то натаскивая в большой муравейник под елью. Главенствовал во дворе, конечно, значительный чёрный ворон, который, скорее всего, был даже старше самого лесничего. Гостя он приветствовал, или оповещал хозяйна, громкозычным карканьем и хлопаньем крыльев. А в тот мой давний приход застал я Митрича за кормёжкой волчонка из соски. Время шло, волчонок вырос в большого волка.

Не поверите, это было нежнейшее существо, хоть и обладало устрашающими зубами и мощным телом с доброго алабая. А какие рулады выводил волк порой лунной ночью! Соседние собаки обрывали свой лай, наверное, забиваясь подальше в будки или под крыльцо. И хоть жил на солидной цепи, повторяюсь, был абсолютно не агрессивен, скорее – именно нежен. Если ты подходил к нему, волчок пригибал лобастую голову к земле, а потом просто ложился на бок в предвкушении ласки. При этом именно по-волчьи щёлкал клыками, поистине устрашающими, но в общении безобидными. Даже мой шестилетний сын с первого раза не испугался этого зверя, ощутив доверие и благодушие. Знаю, что старый лесничий ни разу не ударил его, а на погрызки по молодости всякой посуды или что там попадётся, вроде случайной обуви, лишь отчитывал ровным голосом. И, верилось, Волк – так его и звали – понимал. Каким-то образом они подружились с Вороном, и было потешно видеть, как солидная птица сидит на боку зверя и что-то, подобно обезьянке, выискивает-выклёвывает в густой шубе зубастого дружка...

Год назад проводил я старого наставника в последний путь, и не хотелось верить в этот уход, хоть и было ему хорошо за девяносто. Потому что до конца оставался подвижен и даже активен, а ушёл тихо, уснув однажды в кресле за рабочим столом.

И вот в бинокль я узнал Волка, даже ошейник был тот же, из сыромятного ремня. Как он попал сюда и что его ждёт? Да, конечно же, взрослым уже и детям и внукам, росшим в городе и получившим в наследство дом с многочисленными питомцами, звери были обузой и чуждостью. Но отдать на заклание – иначе это не назовёшь! Наверное, нет ничего отвратительнее в отношениях, нежели обманутое доверие...

А Волк явно не понимал ситуации, полено хвоста туго ушло под брюхо, его уже отцепили от повода, он растерянно оглядывался на возбуждённые трибуны, ноздри трепетали, ловя непривычно-враждебные запахи, щёлканье клыков, которого не было слышно, выдавало нервное напряжение. Он, привыкший к дружелюбию дома, и в зоопарке бы, наверное, потерялся, но здесь... отовсюду накатывалась враждебность.

Несколько раз его попробовали заставить двигаться, а Волк лишь поворачивал тяжёлую голову с шеей и оставался на месте. И я ничем не мог помочь теперь ему... Совсем немного, каких-нибудь полста метров, отделяли зверя от наездника с беркутом, недалеко оставались ещё двое. Кто-то из помощников, зная, видимо, домашность жертвы, сблизил махнул пастушьим хлыстом. Ипподром притих: зверь неуверенной рысцой повернулся к дальнему входу, через который его привели. В воздух взмыла большая птица... зачем-то вторая, видимо, старым соперникам не терпелось показать мастерство своих орлов.

Первый беркут лишь чиркнул когтями по спине и в растерянности взмыл над Волком. Зато второй спикировал точно, одной когтистой лапой вцепился в спину, а вот второй, метившей в голову, не успел – Волк ощутил опасность, дёрнулся, обернулся на бок и клацнул зубами. Орёл забил мощными крыльями, под которыми укрыл наполовину зверя. Неожиданно сверху пал на него другой беркут.

Ипподром взревел обжигающей агрессией: «Трави его!». А к свалке уже спешили хозяева птиц, их верховые помощники с соилами, служки ипподрома. «Добивай!» – понеслось с трибун. Не помня себя, выскочил я на поле, пытаясь отцепить вставшего на пути охранника. Над жертвами разлетались перья, с трибун шёл рёв толпы, жаждущей увидеть агонию жертвы. Парни с дубинами уже добивали Волка, наверное, так и не смогшего понять, что же с ним произошло... и зачем...

И я осознал окончательно, отчего пал Рим.

ВОСТОЧНАЯ ЛЕГЕНДА



ТУМАН спустился с гор внезапно.

Будто разом кто-то великий выдохнул на морозе пар. Да так могуче дохнул, что старый лесничий, едущий рядом со мной, словно серебряной изморозью покрылся. И большой коняга его сразу закуржавел боками, стал ещё крупнее, поплыл в молочном облаке над землёй.

– Горы... – голос старика глухо и медленно подплыл ко мне, казалось, издалека, хотя вот он – рукой дотянуться. – Даже зимой ровно в сказке! Табанкарагай – лесная подошва, так называют.

Вот и сползает к ней всё с вершин. Оттепель придёт. Сойдём, лошадям роздых дадим. Скоро распогодит...

Мы спешились.

Лесничий связал поводья своего мерина и моей кобылки. Лошади потёрлись шеями, сметая с себя иней. Застыли, положив тяжёлые головы на холки друг другу. Отдыхали.

Мы объезжали лесной участок в горах. Лесничий состарился здесь и теперь уходил на отдых. Он сдавал мне этот лес, эти холмы, ущелья и тропы меж ними, перекатную речку на дне пропасти. Всё, что накрыл сейчас туман. И не очень хотел бы сдавать, но что поделаешь – время. Старик и верхом-то стало трудно ездить.

– Ты не торопись... – говорил он мне.

Все старики так говорят. А в молодости надо спешить, чтобы не отставать. Упустишь с юности, не доберёшь в старости. И так говорят.

– Да, – соглашался старик. Глаза его были узки, он смотрел, каза-

лось, сквозь меня. – Да, тороплив человек. Но ты в лес пришёл... своё здесь время. Вот ель...

Старый махнул рукой. Померещилось, что его взмах послушался воздух, качнулся, потянуло слабым ветерком.

В туманном мареве заголубела прогалина, в её свете чётким тёмно-зелёным конусом чернели сплавленные ветви-лапы ели. Я знал, что дальше должна быть пропасть – рухнувший вниз склон ущелья, которое разрезало всё лесничество сверху вниз на много километров. Это там, внизу, чревоугодила речка.

– Перестой, – не удержался я попрекнуть. – Давно срубить надо бы...

– Торопишься, – повторил Старый. – Но до тебя здесь тоже жили. Без памяти кто таков человек? – Однодневка... Эта ель еще Тогульбека помнит... хана Тогульбека. Думал, один живёт... и остался один. Расскажу?

– Сказка?

– Хочешь, так и сказка. Давно это было. И здесь стояла белая юрта Тогульбека, а он был богатейшим баем от тех гор, – с хитрой улыбкой повёл он рукой. И там, куда он махнул, разошёлся туман, в искристом луче солнца возникли несколько зубов далёкого хребта. – До тех...

Туман становился всё прозрачнее. «Будто знал, что это ненадолго», – подумал я о старом лесничем с невольной завистью. А он всё улыбался сухими губами и вприщур встречал солнечные искры, отражённые снегом.

– И ты научишься колдовать, – понял Старый мои мысли. – Не спеши только рубить... память. Возвращать всё труднее.

...Давно это было. И здесь стояла белая юрта хана Тогульбека. Белая юрта, перевитая золотыми шнурами.

По соседству с ней – но всё же поодаль, чтобы не накинуть тень на гордую белизну, – толпились ещё- юрты. Целый аул. Тёмные юрты, даже гостям не ставил хан белой.

А гостей приехало много: Тогульбек женил своего единственного сына.

И потому перед юртой его – на целых сто метров, а то и больше! – раскинут был дастархан. Праздничный стол, значит.

Дымились огни под котлами, где варилось мясо, – со многих баранов сняли нынче шкуры. Золотились вязки казы*. Пенился кумыс. Парил чай в тонких пиалах. Хрустели на зубах сласти, горами возвышавшиеся по всему дастархану.

Невеста была молода – ей было пятнадцать лет.

Невеста была красива. И тиха как сон, её привезли из-за гор на шёлкошерстной белой верблюдице. Длинные ресницы девушки поднимались, и матовым агатом чернели глаза её. И тень ресниц падала бархатистыми бабочками на розово-мраморные щёчки.

*Казы – конская колбаса

Невесту сопровождали строгие седобородые мужчины с широкими плечами и тонкими талиями. Бороды мужчин были стрижены коротко и так аккуратно подбриты, что казались приклеенными. На головах белели тюрбаны, а под широкими халатами тускло поблёскивали мелкие кольца кольчуг.

Кровные тонконогие скакуны хрипели и косили на людей лиловыми глазами, сбившись в плотный табун. Не было таких скакунов в табунах хана Тогульбека...

Вот из-за этого-то и не начинался настоящий той. Ну, праздник, пир. Потому-то и грелся на солнце невыпитый кумыс, потому-то и оплывали на раскрытых скатертях сласти.

Поспорил хан с невестиными родичами, что его Кулагер – мохноногий, широкогрудый и большеголовый айгыр*, рождённый здесь в горах, – обгонит под его сыном Кыдырбеком любого другого коня. Любого из этих высоконогих красавцев с сухими головами обгонит жених на своём жеребце!

Он, Тогульбек, ставит на победителя – эй там, вынесите, чтобы все видели! – вот эти серебряные сосуды, заполненные золотыми монетами, камнями и ожерельями, а есть среди них самоцветы из далёкого Индостана, да! Вот эти шелка и... да, вот эту саблю, за которую отдал двести лошадей иранцу-купцу. Клинок, видно, в подземных землях варился, ха; вот каким синим огнём отдаёт! Другие сабли строгать может!

Пусть тридцать вёрст Большой Байги решат, кому владеть таким богатством. Пусть победитель вынет ту саблю из ножен. Пусть никто не скажет ни вокруг, ни за горами, что плохую свадьбу сыграл хан Тогульбек своему единственному наследнику!

И вот третий час на исходе.

Медленно и томительно движется тень по кругу на земле от пики, воткнутой в центре, от высокой пики с хвостом яка у стального наколенника.

Всматриваются хозяева и гости.

Прищурили под ладонями глаза родственники гостей и родичи хозяев. Притихли родичи родственников и работники хана. Даже дети притихли. Всматриваются все в зелёные волны холмов, вслушиваются во всплеск перевала, из-за которого должны показаться всадники...

– Ска-ачут!!..

Во-он скачет кто-то – не разобрать ещё. Солнце качается за спиной всадника, слитого с шеей коня; прямо в глаза бьёт солнце людям, столпившимся у дастархана.

Ещё двое скачут следом, чуть не касаются хвоста преследующего скакуна, но им не догнать уже... не-ет!

Конечно, это его Кыдырбек на Кулагере, хозяин и не сомневался.

Пропускает меж двумя пальцами жидкий хвост бороды хан Тогульбек, пригнувшая сытую улыбку.

Разогнался Кулагер, уже совсем близко до юрты с золотыми шнурами. Всё – выиграл. Выиграл!..

Бесцветным сделался конь от пенного пота и пыли. Не видят глаза коня, выкатившиеся из орбит – всего себя отдал айгыр скачке. Только лошадь способна так отдать себя – всю, до последнего нерва. Тридцать горных вёрст, где угнаться за ним, мохноногим, этим баловням нездешним, пусть и резвы они. Но нет в них настоящей вольной злости, что только и дарит победу. Победа!

Хрипит, голову задрал Кулагер – поводья тянут, рвут губы, веля остановиться... край пропасти, над которой поставил белую юрту свою Тогульбек, совсем близко. Вон за спиной свечами поднялись кони преследователей, выкатили в ужасе лиловые глаза свои. Ты выиграл спор хана-отца, остановись, джигит!

Не остановился жеребец – рухнул на землю вместе с рухнувшим сердцем своим.

Перелетел через голову хрипящего Кулагера всадник – единственный сын хана Тогульбека и жених красивой, как сон, невесты из-за гор. Коротким был крик юноши – приняла тот крик пропасть за белой юртой, увитой золотыми шнурами...

– Твоё!.. – сказали хану приезжие спорщики, показывая на выставленные сокровища.

– Твоё, – ещё сказали, ссыпая золото из своих карманов, выворачивая расшитые хурджуны* и снимая дорогие сёдла со своих коней.

– Моё, – согласился хан Тогульбек. – Такие у нас лошади – всё отдают хозяину.

И тишина висела вокруг, как туман.

И велел хозяин прибить голову айгыра-победителя к верхушке молодой ели, росшей на самом краю пропасти.

Пусть растёт дерево, пусть держит корнями своими камни над пропастью. Пусть все далеко видят, какие кони в табунах Тогульбека.

– И это – твоё!.. – подвели красивобородые гости невесту, тени ресниц её лежали на белых щеках, а дыхания не было слышно. – Пусть родит тебе... калым заплачен.

Ещё дымились огни под котлами. Ещё булькало мясо в тех котлах. Ещё капал на уголья жир с цельных баранов, нанизанных на вертела.

– Так, – подтвердил хан Тогульбек, забирая в кулак сивый хвост бороды своей.

И задрожали ресницы юной невесты, привезённой из-за гор на белой шёлкошерстной верблюдице.

*Хурджун – перемётная сума (тюркск.)

... – Но не дал аллах новых детей хану, – закончил лесничий. – Прервался род Тогульбека, который считался хозяином гор здешних. Давно это было... знаешь, сколько наша ель растёт?

– Десять сантиметров в год...

– Давно было. Метров на тридцать поднялась ель... Взгляни, – подал мне бинокль старый лесничий. – А ты говоришь – «перестой»... Лесное многое помнит. Так говорят.

У самой верхушки громадной чёрной ели чётко белел лошадиный череп. Выбеленный дождями, ветром и солнцем, пророс он зелёными иголками.

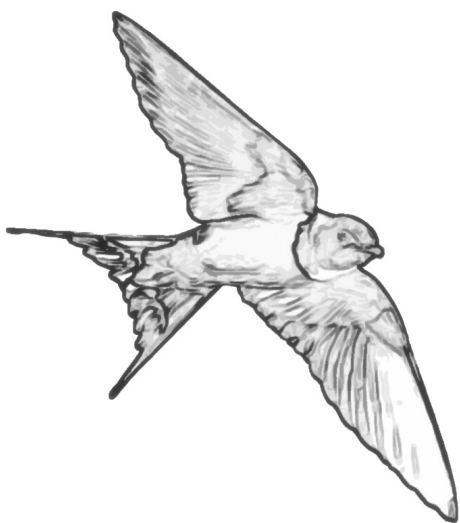
– Сказка... – сказал я.

– Сказка, – согласился старый. – А рубить не торопись.

Солнце давно расплавilo туман. Отдохнувшие наши лошади хватили губами искрящийся снег.

Мы поехали дальше.

НЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК ХОЛ



С УТРА Хол повесил на дверях магазина табличку: «Моя работа не буду нынча». Ниже написано по-таджикски. Видимо, в том же смысле. Никто в кишлаке ему не перечил – значит, человеку надо.

Познакомились мы с ним нечаянно. Когда я впервые подходил к магазину, из дверей вышла девочка лет семи. На голове она несла ящик, полный помидоров, алых, будто только снятых с куста. Ящик не очень большой, сбитый из тонких матовых дощечек, однако

для девочки явно тяжеловатый: на ходу под этим грузом килограммов на пять-шесть она как-то вибрировала всем хрупким тельцем, лишь голова её оставалась неподвижной, будто скреплённой с ящиком. Добрая дюжина воронёных косичек змеилась по напряжённой спине. До кишлака почти километр, солнце пекло нещадно, останавливаться ей было нельзя. Я взял у девочки ящик, и малышка засеменила следом. Глаза у неё были круглые, черным-чёрные, и испуг в них мешался с удивлением.

За сигаретами я вернулся вскоре. Магазин оказался маленький, но – «про всё»: рядом с водкой стояли женские туфли производства Англии, помидоры оттеснили в сторону конфеты, а чай соседствовал с бритвенным прибором. На прилавке рядом с весами парил большой фарфоровый чайник, мужчины в тюбетейках заполняли свободное пространство перед прилавком, явно ничего не покупая. Чай пили.

– А-ас-сало-ом! – ответил мне широкоплечий, с мягким круглым ли-

цом, на котором доброй картофелиной круглел нос, продавец, выходя из-за прилавка и прикладывая руку к груди. Остальные молча также приложили к груди руку.

Хол, как потом я узнал его имя или, скорее, кличку*, протянул мне пиалу с чаем:

– Очень жарко – пей. Кок-чай, чай зелёный – пей, пожалуйста, легко станет жить!

Я старательно разглядывал немудрящее курево, стараясь не останавливать взгляда на этом забавном лице, на котором к тому же чуть не в треть щеки над левым уголком губ темнело крупное родимое пятно.

За сигаретами Хол ушёл в закуток позади прилавка, подтвердив своё понимание словами:

– Э-э, болгарский лубишь?

На следующий день я скатился с горы на тропинку прямо под ноги ишаку. Сверху меня догнал камень, который выбил шишку на голове – словно поставил точку на моём неудачном освоении альпинизма. Из рассечённой губы текла кровь, повисшая в плече рука быстро опухала. Губа мешала смеяться: надо мной стоял и внимательно смотрел ишак, гружённый целым стогом сухой жёсткой травы. Кровь быстро засыхала, рукой шевелить было нельзя, трава остро пахла незнакомым ароматом, ишак ничему не удивлялся.

– Э-э, – раздался знакомый голос. На меня надвинулся большой живот, широкие руки сразу нащупали плечо. – Зачем один лазишь? Я всю жизнь живу – по тропе хожу, отец здесь жил – по тропе ходил. Что на голом камне надо? Носи лучше помидоры детям!..

Под конец этой успокаивающей, чуть гортанной, насмешливо-тягучей речи я гаркнул дурным голосом – Хол дёрнул мою неудачливую руку, хрустнуло, стало совсем горячо. Осёл запрядал длинными ушами, но не отвёл заинтересованных глаз.

Вечером Хол постучал ко мне в комнату, внёс свой живот и завёрнутое в цветастый платок блюдо. С пловом. Аромат его заполнил, кажется, весь корпус. Я замахал рукой, другая ещё плохо слушалась. Он поставил блюдо и обеими руками смешно покачал живот, ещё больше выпятив его:

– Вот таким будышь! Пить сколь душе угодно будышь! А потом кино смотреть пойдём. Друг снимал.

Хол легко наклоняется, подбирает на полу хлебную крошку. Выходит на балкон, кладёт крошку на перила, бормоча: «Птицам будет...»

Над окном под козырьком крыши чернеет ласточкин домик. Если прислушаться – можно уловить попискивание птенцов.

– Э-э... – говорит Хол, по-птичьи клоня набок голову. Хитренько выглядывает на меня и зачем-то хлопает себя по круглому животу: – Идём!

Мы смотрим фильм, который снимал и в котором снимался его друг.

«Заслуженный всей страны!» – уважительно шепчет Хол. Под сорокалетним Холлом тоненько постанывает скамейка, когда он воздевает широкие кулаки и возбуждённо подскакивает: на экране его друга со спины ударили по озабоченной судьбами мира стриженной голове. Потом скамейка успокаивается – звуки карная растрогали Хола, руки его надёжно упираются в колени. Больше в фильме его ничего не взволновало, но он остаётся доволен финалом – его заслуженный друг перестал мучиться, понял жизнь, помог кому надо, и картина закончилась.

– Ему не больно было, когда ударили? – интересовался Хол.

В засвеченной фонарём тени возились, что-то меж собой выясняя, парни из кишлака. Возились довольно возбуждённо, да и парни здоровые, плечистые – горные таджики народ красивый и сильный, даже голубоглазием от долинных отличаются, как и нравом твёрдым. Отдыхающие курортники смотрели в ту сторону с опаской.

Хол бормочет на родном языке что-то явно нелестное и животом делит вызревшую драку на два ломтя. Слышатся оправдывающиеся голоса, Хол шутя одаривает кого-то тычками в бока. Расходятся. Почтение к старшим здесь незыблемо...

– Отдыхать пойду, – сообщает Хол. – Завтра на склад рано едем. – Хол иногда так и говорит о себе, если по-русски, во множественном числе. Уходя, он нагибается: на песчаной дорожке темнел цветок. Осторожно кладёт цветок на обочину – худо, если небрежная нога растопчет.

Хол часто заходил ко мне в дом отдыха. Такой подарок случается у мужчин: вроде и повода особого нет, а возникает какая-то внутренняя душевная связь. Здесь и слов никаких особых не надо, с другом и молчание не тягостно. Молчать о многом важном можно, а потом проходят годы, и ты понимаешь, что есть у тебя человек, которому твоя судьба не безразлична и он бросит всё, чтобы примчаться к тебе на помощь, закон дружбы здесь незыблем издревле. Хол заходил ко мне – это было рядом, здесь же: курортники потеснили кишлак на козырьке мощного широкого уступа, нависающего вместе с домами и зеленью над круглосуточно ревущей рекой.

– Дождь в горах, – пояснял он, когда вода в реке становилась бурокоричневой. Хол терпеливо сидел, смотрел, как я работаю, потом уходил на бильярд. Удивительно, но его молчаливое присутствие скорее помогало мне, хотя даже дома я не терпел кого-то рядом даже при чтении книги. Проигрывал Хол легко, без обиды, казалось, что это он и помог выигравшему, и очень рад этому. Потом возвращался ко мне, разворачивал лепёшку, тёплую и пахучую. «Не магазинная!» – улыбались круглые глаза, от улыбки губетейка ёрзала на коротко стриженных волосах.

За окном падала в пропасть ночь. Трудилась река. Мы допивали остатки водки, лепёшка пахла уютом и дымом костра.

Разговаривая, Хол широко разводит руками, смех начинается у него

из самого живота – ровный, шелестящий, многое примиряющий смех. Большие руки падают на колени. У Хола шестеро детей, все – дочери. Старшая уже заканчивает школу вне дома – зачем в ауле средняя школа? Проходя по аллее, Хол непременно с пыхтением, но нагибается. Не прерывая при этом разговора, он поднимает с дорожки цветок или зелёный лист и откладывает их на обочину. Курортники – небрежный народ: на деревянных софах, где днём под деревьями пили чай, валяются куски хлеба или лепёшки. Хол аккуратно собирает до последней крошки экономным крестьянским жестом. Относит на берег, крошит в воду. «Хлеб так нельзя. Пусть рыбам будет».

В воскресенье он заходит за мной.

Ишак ждёт на дорожке, мы идём по тропинке, потом переваливаем на северную сторону хребта. Если хребет просверлить – дырка получилась бы метров двести, не больше. Серпантинном же по окружной тропе натаптывается добрых пару километров. А на северной стороне растут ели и даже встречаются берёзы. Там травы – почти в рост человека. На нашей же – зреют грецкие орехи и миндаль, у которых запекается под солнцем камень.

Травы на зиму нужно много, где взять её козам и корове, если Хол не заготовит сейчас, летом? Потому хоть раз в день они с ишаком переваливают на северный склон. Работает Хол легко и привычно, покрикивая на упирающегося ишака, с которым они всё равно приятельствуют, как покрикивали его отец и дед. Рядом с домом потихоньку растёт большой стог. Над домом плавает травяной дурман, у прохожего невольно нос поворачивается в сторону Холова дома и блаженная улыбка смягчает лицо. Впрочем, в других домах этой работой занимаются мальчишки, на то и каникулы летом.

...Табличку-то Хол повесил сегодня на дверях магазина. И все понимают – человеку надо, денёк обойтись можно, раз так. Хол разделяет с утра барана.

– Эй, Хол-джан, гости приехали, открой быстро-пожалста! – Стук в ворота, голова из щели приоткрытой калитки извинительно улыбается.

– «Гости-мости», – бормочет по дороге Хол. До полудня бормочет так Хол, а двери магазина никак не закроются. После полудня приезжает «газик»: «Поехали!». И правда: сегодня ведь надо в город, на склад, туды-сюды – поехали...

Солнце в ущелье исчезает рано. Только кромки вершин освещаются снизу, фиолетовый нимб делает скалы ущелья плывущими и нереальными. Потом сразу наступает темь. Стена ущелья, что видится из моего окна, становится вовсе плоской, она придвигается совсем близко – рукой дотронуться можно, кажется. Если рука, конечно, по дневному воспоминанию, протянется через сад, речку, шоссе. Но их уже не видно, лишь стена выросла перед окном.

На балконе у приближенных тьмью гор стоит Хол, на которого сквозь тюль гардин падает ровный рассеянный свет. Хол наклоняется с крихтением, слышится стук бутылок и непривычно раздражённое бормотание. На русский он переводит понятное, но ненаписуемое выражение и зовёт меня тяжёлым взмахом руки...

На полу балкона лежат осколки сбитого ласточкина гнезда и три несуразных, чуть припушённых первым пухом тельца. Над крышей суетливо носится птица, вжикая гнутыми крылами воздух. «Вот гады...» Хол отодвигает одно тельце в сторону – уже не жилец. Уходит, торопится: с балкона – как удобно и уютно это придумано! – прямо в сад есть витая лестница. «Вода готовь!» – это мне. Возвращается с комком глины, мы ставим стулья. Хол лепит у карниза к стене маленькую площадку, маленькую и чуть выгнутую вверх краями, этакое блюдце. Я невольно смеюсь, представив грузного Хола летающей ласточкой, но гнездо он лепит столь же старательно. «Теперь не упадут». Перьев и трухи собирается совсем немного, ветер успел подобрать. «Хватит пока. Сами закончат».

– Надо выпить, – говорит Хол. – Знаю, что работа у тебя – надо выпить! Не из-за этого...

Два птенца слабо попискивают в свежеслепленном гнезде. Выживут ли, примет ли мать, что стрельчатой тенью проносится у самого моего виска?..

Мы уходим вьющейся вниз тропой к реке, которая ощущается резкой прохладой и шумом. Здесь вовсе хоть глаз коли. Мрак. Но Хол спокойно всё устраивает. Привыкнув, я различаю его руки, слышу бульканье. Пьём. Молчим. Слушаем реку, хлопают перекатываемые течением камни. Потом Хол, будто из сна, начинает говорить.

– Любишь сказки? Я расскажу тебе одну, хочешь? Давнюю...

Было неожиданно слышать, что он говорил под этот неустанный рокот бегущей вниз воды. На меня наступала стена из гор. У подножия стены волновался голос Хола. Фигура его, лишь чуть ощутимая в темноте, была недвижна, как валуны рядом, по-моему, даже губы не двигались, голос жил словно сам по себе.

– ...Когда Александр Македонский пришёл сюда, первым делом спросил у жителей, где их царь. «На кладбище ходит». – «Где, где? Позовите его!». Позвали. Царь одет просто, как нищий почти. «Что ты ищешь на кладбище? Я тебе всё дам, правь своим народом, как прежде, мы будем друзьями», – говорит ему Александр. «Всё?» – переспросил его наш царь. – «Всё». – «Если не сможешь исполнить три просьбы, уйди отсюда! Оставь нам свободу». – «Хорошо», – засмеялся грек, за спиной которого в пыли ползали большие страны. Чего бы он не смог выполнить, облагодетельствовать под хорошее настроение!..

«Дай же нам здоровье – чтобы не было болезни».

Молчит Александр.

«Дай молодость – чтобы не было старости».

Молчит Александр.

«Жизнь дай – чтобы не было смерти».

Молчит Александр.

«Видишь, ты не всемогущ тоже. Я уйду – к могилам. Может, они ответят мне... оттуда, – сказал наш нищий царь. – Ты уходишь?».

«Я уйду», – прошептал Александр.

Голос Хола хрипловат от сырости воздуха. На черном небе, прорванном звёздами, пирогой плывёт острый месяц. Он только что родился.

– Побряцай денежкой, – говорит Хол почти всерьёз и просит закурить. Губы вытягивает трубкой, круглое лицо от теней огонька спички заострилось. – Зря-а он на кладбище ответа искал... наш царь! Не успел я плов днём сделать. Завтра придётся... у меня утром сын родился. Хорошо! Четыре с половиной кило... А?..

– Как ей-то пришлось, жене? Такого ребёнка...

– Ну-у, сын ведь, мужчина. Воин!

В темноте трудилась река, которое тысячелетие перекачивая по дну камни, перемалывая валуны в песок.

В ДАВНИЕ ВРЕМЕНА...

Из повести «Проклятие (Мороки)»



...МЕДВЕДЬ был большой. И жирный. Гарпанча знал это ещё в тот момент, как впервые увидел след. «Лето прошло хорошо, наелся дедушка», – подумал.

Он седьмой день шёл этим следом, ожидая, что хозяин леса заляжет, пора бы ему. А тот всё брёл, не меняя направления, нехотя, скорее по привычке, путая следы и злясь на что-то, – это охотник тоже видел по глубоким царапинам на стволах, по

вырванным с корнем деревцам, вот и прихлопнутый, вовсе нетронутый зверем молоденький лосёнок зря только попался под тяжёлую лапу, неведь зачем забредя в эту чащобу.

Кружит амикан, кружит... «Верно, скоро встретятся с Григорием», – думает себе охотник. Гарпанча с начала выслеживания даже в мыслях стал называть себя тем христианским именем, которое дали русские при крещении. Он знает, что так надо, помнит всегда, как помнит, что старый Сэдук ему не отец, а спас его Большой Иван, купец нынешний. Бровин тогда ещё и купцом не был, он бродил по тайге один, золото промышлял: вот и набрёл однажды на стойбище родителей мальчишки, которые уже остыли, а двухлетний Гилгэ ещё цеплялся возле них за жизнь.

Он бы давно догнал медведя, если бы не вёл с собой оленя. «Как привезёшь, если Григорию повезёт», – рассуждал, оборачиваясь и заглядывая в пугливые глаза, выказывающие, что животное тоже чует зверя. Итик, лайка Сэдука, кажется, и так уже недоволен таким долгим следованьем, но этого медведя нужно брать наверняка, Григорий же без

ружья пошёл. Рогатина да нож. Старик учил охотника, рассказывал, но что толку от слов, когда одному на медведя ходить ещё не приходилось. А брат надо: Сэдюк стар, и люди на него косятся, говорят, что не дело было старику ссориться с Большим Иваном. Гарпанча очень хотел принести мясо, доказать верность слов отца, что жить можно и без пороха. Хотя он тоже не понимал, почему бы их тойону и не показать купцу, где лежит золото.

Сам бы он, Гилгэ, обязательно показал. Купец однажды пересыпал в ладонь юноши песок и камешек дал подержать, тяжёлый камешек, Гилгэ даже понюхал его зачем-то, когда купец просил такие смотреть на речках. «Не жалко для Большого Ивана, – думал. – Почему жалко, мне не нужны...» А у Бровина, когда ссыпал обратно в мешочек, глаза покраснели, как угли, на которые подуешь ночью. Но Гилгэ те камни не попадались.

И ещё он благодарен Большому Ивану за то, что Григорий не родной сын Сэдюку. «Пусть облизывает жир с губ Тонкуль сколько хочет, – успокаивает он себя мыслями, дёргая оленя. – Не будет Арапэ ему женой...» Даже закон здесь за Гилгэ, одного они рода – Тонкуль и Арапас. А с Гарпанчой никакие они не родственники, хоть и поила тогда своим молоком мать девушки. Брат Арапэ, ровесник его, умер, и мать тоже, остался один Григорий. Так он и называет себя, когда охотится на амикана – хозяина леса, их предка, хотя Арапас любит Гарпанча, а не Григорий; но пусть дух амикана думает, что выслеживает его Григорий – христианин, в десятую свою весну крещённый смешным отцом Варсонофием, у которого голос не хуже самого амикана.

Сейчас будто тот голос услышал Григорий, но откуда взяться здесь отцу Санофею? – Медведь, дедушка это.

Юноша подозвал к себе собаку одним шелестом пальцев. Потому что Итик тоже слышал и чуял, напрягшись всем телом, приподняв губы над клыками в беззвучном рычании, ветер к нему нёс запах врага. «Григорий выследил, дак». – И юноша перекрестился, как учил отец Санофей, чтобы русский бог помог охотнику.

Затем привязал оленя на длинный чумбур, чтобы сыт был и не сбежал, а из мешка достал маленького божка, которого давно дал приёмный отец, и пообещал тому божку кусочек печени со свежей кровью от амикана, если духи помогут добыть зверя и отведут с дороги злую силу. Итик всё понимал и ждал, подняв уши и шерсть вздыбив.

Дальше Итик побежал вперёд, вбирая в себя воздух и тихонько поскуливая от возбуждения. Охотник знал, что пёс теперь не промахнётся, выведет точно и задержит, сколько надо. Рогатина была тяжёлая, толстое древко её морил сам старейший из цельной рябины, а где глава рода брал кованую двурогуемую насадку, Грапанча не знал, давно эта рогатина у Сэдюка, до того ещё, как появился он, Гарпанча, сейчас притво-

ряющийся русским Григорием, чтобы не узнал его медведь. Нож же он купил сам у Бровина, за своего соболя купил, и Иван Кузьмич хороший нож выбрал своему крестнику: вот Григорий чувствует на поясе – нож всегда под рукой.

Теперь Итик лаял уже громко и беспорядочно, он метался вокруг и старался не попасть под лапу здешнему хозяину. А тот злился, потому что он пришёл на место, здесь он и хотел устроиться ночевать на зиму.

Охотник одним взглядом оценил небольшую прогалину, увидел вывороченные корни старой лиственницы, давно упавшей и уже покрытой мхом, отметил крону ёлки, как раз покрывшей поднятый лиственными корнями пласт земли, и большую яму под ними; верно, хозяин этот не один год здесь отдыхал, а может, даже и родился в этой берлоге, потому что яма была увеличена явно самим зверем и гряда хвороста натаскана им же.

Охотник сразу оценил и толстый ствол лиственницы чуть поодаль себя, и чистую, без кустов и травы, землю вокруг того ствола, а земля устлана отжившей хвоей, нехорошая то опора. Но лучшего не было, да и зверь уже заметил врага, их взгляды встретились, шерсть поднялась на загривке медведя, он рыкнул на увёртливую хриплого пса и повернулся оскаленной мордой к человеку. «Большой амака, человек такого не видел...» – мелькнуло.

– Ки-и-к... – не совсем решительно каркнул Гарпанча, но и собрался с силой: – Ку-у-к! Ки-как!

Так кричит ворон, так ворон охотится, и охотник предупреждает дедушку-амака, что не один, мол, он здесь. «Это не я боюсь тебя... другой человек боится... это Гарпанча боится, Григорий я», – то ли думал, то ли бормотал охотник, чуя, как страх сжал затылок, а ноги заохлодели и на мгновение они стали мягкими. «Ки-и-к!» – снова поддержал себя и упругими теперь от поддержки ногами переступил к примеченному стволу, не отводя взгляда от зверя.

Итик казался вертлявым комочком рядом с громадным туловом медвежьим, наверное пёс и был-то всего с голову да шею таёжного хозяина. Не мысли – так, тени мыслей – проносились, как тенями была и память о стойбище, где трудно отошли за лето от прошлой голодной зимы, а мяса опять нет, и скоро совсем ляжет новый снег, а люди уже забили первых оленей, пропадут люди.

– Как кочевать тогда? Без оленя и без мяса? – спрашивал охотник медведя.

Мгновения все, как мысль. Потому что больше ведь не отпущено. «Дедушка» этот здесь дома и вовсе не рад гостю, собака которого норovit ухватить побольнее, задержать. Знает Итик, как надо. А охотник выставил острия перед собой, другим концом рогатины нащупывая упор у дерева. Рыкнул медведь и неожиданно легко метнулся к человеку. Только

ждало все же жало, прямо в грудь у плеча вонзилось; отпрянул было зверь, но здесь же поднялся с рыком натужным, громоподобным, протягивая передние лапы навстречу ожогу.

Сзади же Итик наскакивает, пасть шерстью чужой забита, тоже разъярился Итик, до живого достать норовя. Пытается хозяин, не глядя, отмахнуться лапой от пса. И ревёт страшно, клыки жёлтые показывают, дух тяжёлый из пасти слышен. Туда, пониже оскала, и суёт охотник рогулину острую снова, пока нависает над ним зверь, а пёс, как ждал, вцепился где-то внизу. Так всей тяжестью плечей и лап и насунулся, разъярясь, медведь на остриё.

Вошёл один рог под ключицу, другой наискось пониже – в середину груди... неудачно вошли рога, только боль несут, а не смертельно. Зверь же навстречу той боли прёт, лапой с когтями домахнуть до охотника жаждет, пена из пасти течёт.

Ничего теперь не изменить. На Итика, на дерево, в которое упёрлось древко рогатины, да на нож надежда. Бог ли, дух ли помогут, а тень разъярённого зверя лежит уже на небольшом перед ним человечке. «Ровно Большой Иван...» – мысль ли, шорох её, просто память?

Напряжённо, жалобно постанывает древко под тяжестью... Итик! Собака попалась всё же на отмашку звериную, отлетела назад, за лохматую спину... нож сам в руке... вот туда под лапы нырнуть, успеть и прижаться... мокрое брюхо и грудь, а нож сам понимает, куда ему идти...

Гора мохнатого мяса, булькая чем-то внутри, урча и тяжеломерно обмякая, навалилась на охотника, неверно завернула, будто выказывая на прощанье уходящую силу, неумолимо выдавливает из плеча Гарпанчи ту руку, что без ножа, больно становится, искристо и тошнотно... и дышать тяжело – мокрая шерсть всё лицо закрыла, душный запах залил рот, нос, глаза теменью... а-а, Итик, жив, поди? – еле дёргается бесильная неповоротная башка амикана – в ухо, что ли, вцепился Итик?.. Но тело медвежье ещё горячее, ещё толчками выходит из него жизнь, к этим толчкам можно приноровиться, чтобы выбраться... боком, пластью, ползком... Ф-фу-ух! – выдыхает плотную надышанность Гарпанча и поднимается поскорее. Только левая рука не даёт выпрямиться, обвисает и тянет всё тело в свою сторону. «Ничего, – думает парень. – Неживой амикан-дедушка».

– Это не я тебя убил, это русский Григорий тебя убил... ищи его иди! – бормочет, как положено, Гарпанча медведю, а рука не хочет слушаться, и плечу горячо, делается оно большое, и рука тяжелеет. «Ничего, дедушке вот совсем плохо, неживой теперь», – успокаивает себя Гарпанча.

– Домой теперь повезём дедушку, – медведю и псу говорит Гарпанча, заставляет себя наклониться и вытащить нож, надо печень открыть:

самому кусочек тёплой поест, чтобы легче стало, Итику дать, божку обещал...

– Хорошие боги помогали Григорию тому, благодарит Григорий, однако, – пробует улыбнуться Гарпанча, но рука всё мешает выпрямиться, а откуда-то из подвздоха будто выталкивается тягучая боль.

Всё же он, глядя на зализывающего свой бок Итика, переваливает тушу медведя поудобнее, хотя для этого приходится встать на колени, почти лечь, и вскрывает податливое брюхо. А надо ещё сходить к оленю, сделать волокушу, навалить на неё эту добычу, пока не заоченела. И каждый шаг даётся все труднее, вислая рука тянет тело к земле, мучительно тупая боль будит желание лечь поудобнее и забыться. Незаметно начавшийся снег на некоторое время поможет Гарпанче перебороть забытьё, но боль берет своё. «Рассердился на меня дедушка видно... – проскальзывает ещё мысль. – Или духи мои обиделись...»

ВОЖАКИ

Тянь-шаньская поэма

*Мне ни прощанья,
ни прощенья...*



I

ВОЛКИ пировали всю ночь.

Они до сих пор не могли поверить в свою удачу: торопливо, с трудом и хрипом проглатывали ещё горячие куски. Нет-нет да и отрывались от тёмной туши, настороженная ярость вздыбивала и без того напруженную шерсть на горбатых загривках: то один, то другой волчара, отскочив от поверженного марала, осторожно обегал

кругом стаю, взбирался на огромную каменную плиту, нависшую над тёмными верхушками елей, что спускались по щели к полузамёрзшему ручью.

Каждый из них, ночных леших – серых, поджарых, большеголовых, остервенелых и ослеплённых многодневным голодом и всё же неусыпно осторожных – вскакивал, пружиня лапы и напрягая уши, на ту истоптанную плиту, с которой их могучая жертва пыталась совершить последний прыжок.

Рвали, отскакивали, хватали обрызганный кровью снег, пугались, косясь на ворон, которые терпеливо ждали своей доли, молча возвра-

щались, не огрызаясь друг на друга, беззвучно перебирали лапами на одном месте, нетерпеливо и опасливо продолжая прерванное пиршество своё.

Вот кто-то из семи волков, ослеплённый мигом страсти насыщения, с таким остервенением рвёт свой кус, что отлетает назад, – и шевелятся рога, ещё час назад способные поднять на воздух или расплющить у земли любого из стаи.

Даже самого крупного из них – вот этого, что единственный из семи ещё не проглотил ни единого куска. Ни единого куска так пьяно пахнувшего на морозе мяса не проглотил. Не вцепился в это тело, так неожиданно и спасительно ставшее добычей стаи.

Хотя он имеет больше других прав... Право Первого.

И он один сидит неподвижно у самых рогов, которые кажутся порослями каменного кустарника: любому волку впору спрятаться под этими рогами.

Он – Вожак стаи – рискнул, вопреки здравому смыслу рискнул бросить стаю на этого гордеца, которого он, волк, знал почти с рождения... и справиться с которым могло помочь лишь чудо.

Вожак, словно желая вновь опознать знакомца, сделал несколько медленных шагов округ головы рогача. Видна хромота волка, еле заметная, она придает лишь некоторую валкость его походке и скрадывается широкой светловатой грудью, лобастой властностью головы.

Вожак подходит к вытянутой, по-прежнему напряжённой шее марала, косится на рога, лапой чуть трогает покрытую инеем гриву, воротником сбитую на оленьей шее. Ощувив зуд, зализывает сукровичный развал на бедре, что успел-таки в последние секунды оставить ему на память марал.

Да, только чудо могло помочь истощённой зимою стае взять этого рычащего оленя. Здесь взять, на его родном утёсе...

И Первый волк валкой походкой, словно матрос, снова обходит голову рогача с прикушенным в смертной улыбке языком, останавливается у вытянутых передних ног, сухих и таких мощных даже сейчас, когда острые копыта Благородного оленя неподвижны.

Он сразу понял тогда, что это чудо должно произойти, что-то в поведении великана этих гор насторожило и нашептало об успехе...

Волк обнюхивает острое копыто, оглядывает своих, рвущих мясо в голодном и недоверчивом иступлении, вдыхает тёплый пар. Без рыка, молча шевелит тяжёлой головой на рослого волчонка, подобравшегося к шее их жертвы, – так шевелит, что переярок туже задвигает хвост к поджарому животу и прячется за остальных. А виноватого взвизга его Вожак уже и не слышит.

Это всегда его, Первого волка, привилегия, а он не торопится начать свой пир. Его всё ещё тревожит неразгаданность случившегося, ибо не-

понятное всегда несёт в себе угрозу, хотя Вожак и знает сейчас – опасности вблизи нет.

...В рассеянности он вновь нюхает остро-напряжённое копыто поверженного оленя. И взгляд останавливает странная опухоль на колене марала – единственная помеха на вытянутых сухих ногах, на опухоли спотыкается глаз, этот комок на колене прерывает стремительную линию ноги рогача... так дело в ней? И тот, последний, напряжённый прыжок – подрезала эта опухоль? Она – такая чужая, такая ненужная здесь, на этом совершенном инструменте, который помогал Благородному оставлять под копытами любые утёсы и любых преследователей... такая же чужая, как и жжение у него, волка, теперь на бедре?..

Вожак лизнул свою рану. Затем, будто желая выправить тот единственный порок на колене жертвы, принимается разгрызать опухоль на ноге Благородного. Его, Серого Вожака, соперника в этих горах, неподвижного сейчас соперника, которого стая обратила нынче в пищу.

Чуда не было.

Было то, что каталось у него самого под шкурой вот уже третью зиму, хотя и не тревожило пока. Шальная пуля, даже не раздробившая кость, пущенная издалека, наобум, – мешала она выжить Благородному. Это она свинцовой опухолью связывала его прыжок надёжнее пут.

Чуда не было. Был общий враг, всё тот же. Он где-то издалека выпускал гром и этот горячий комочек свинца. А не достав Благородного, ушёл. Ушёл, забыл, приговорил. Приговорил, ушёл... нет, не забыл, придёт, как приходит каждую весну. Как всегда приходил.

Волк отошёл чуть в сторону от пирующей стаи. Там насыщалась и его волчица, ей необходима была эта жертва Благородного, ибо она несла уже в себе новую жизнь. Его, Вожака, жизни – Продолжение...

И снова, уже безо всякой обиды на противника, принимается заливать рану. Ему не в чем упрекнуть себя, это честный, хотя и предрешённый поединок. Так устроена их жизнь, они следуют её законам: нынче желудок многих успокоится – вон как терпеливо ждут своего воруны, вон и горностаи посверкивают глазками из-за камня, и тоненькое тьяканье лисицы слышалось...

Хромой волк и этот олень были ровесниками, они родились в одно время и недалеко друг от друга. Они не раз встречались на горных тропах и не всегда ему, Первому теперь здесь волку, уступалась дорога, это так. Они были ровесники, и ему, его стае надо жить здесь дальше. Благородный был обречён уйти раньше, стая лишь завершила этот уход. Осенью волки не пытались, да и не могли, помешать этому маралу продлить свой род, Благородный был яростен в своей любви. И не одна маралуха приходила на его зов и по следу к Утёсу над верхушками елей, волк знал это. Нынче завершился честный поединок, свинец тот мог полететь и в него...

Вожак поднял морду и – завыл.

Густой, тоскливо-напевный, в точно определённых тактах переплетённый низким хрипом и клокотанием горла тёмно-зелёный вой поплыл над такими же тёмно-зелёными волнами старых елей, над медленно осыпающимися красными стенами щелей, над плавающими в серебряном утреннем тумане бесконечными грядками горных голов, скругленных самим Временем, поплыл над склонами и срезами малых вершин, подобных тому Маральему утёсу, на котором сидит сейчас Серый Вожак.

Далеко-далеко у подножий каменно-лесных волн эти хрипловатые аккорды высекали визг у собак. Прикрикнул на дворняжек человек, вышедший по нужде, но те уже забились под крыльцо и там тихонько поскуливали. Рядом с человеком тёмно застыла остроухая лайка, горло её напряглось, завибрировало, когда новая волна волчьей волшбы скатилась к ним.

«Воет... с-стерва», – пробормотал человек, заходя в дом, потом высунул в незакрытую дверь ружьё и разрядил оба ствола в морозный воздух.

До Вожака не дошли ни визг, ни выстрелы.

Он был, не обращая внимания на удивление стаи, пел, не ощущая ни голода, ни любви. Волк обнажал тяжёлые клокочущие тоны, словно поминая погибшего, на кончине которого оказался случайно. Он чаровал себя самого, вслушиваясь в уплывающие звуки, и словно удивлялся собственному существованию.

Но великан-марал не слышит его. В стьлом бархате глаз Благородного оленя нет ни проклятья, ни прощения. В глазах отражаются чуть розовеющие тёмно-графичные контуры его гор в занимающемся новом утре.

II

...СТАРОЙ маралухе снова повезло. Совсем неслышно, невесомо и осторожно проскользнула она мимо отары в привычную, круто опускающуюся к реке щель. Река бурлила уже недалеко, изредка на перепадах глухо хлопали камни.

Проскользнула маралуха с наветренной стороны, в ноздри били запахи кизячного дыма, влажной собачьей шерсти и конского пота, смешанного с острым человеческим духом. Осторожно пробралась через буреломы, стараясь не задеть сохлых стволов елей, стеснивших ущелье, обходя или переступая обомшелые валуны, нервно дёргая шкурой, когда касалась случайной ветки на пути.

Здесь в девятый раз ждала она появления сына – до этой весны у неё рождались дочери. Красивые и здоровые, уже многие из них и сами стали матерями.

Но теперь маралуха носила сына.

Ей хотелось дождаться его ветвеобразной короны-рогов, хотелось однажды золотым осенним утром увидеть своего сына стоящим вон на том, выплеснутом волнами гор, утесе, хотелось услышать его трубный, повелительный и зовущий сентябрьский рёв...

Она чувствовала, что наконец-то носит сына: он тяжелее давил её, чаще прежних вёсен оленухе приходилось отдыхать при осторожном подъёме, труднее перебираться через валежины. А может – просто скзывался собственный возраст, и опыт предшествующего вынашивания детёнышей оберегал её на остановках...

Маралуха не опасалась, что её потревожат здесь: верховая тропа проходила в стороне, а чабанские собаки дрожали и поскуливали от одного запаха, шальным ветром донесённого к ним из соседней щели. Она тоже знала, что там, в щели за откосом перевала, под змеями корней павшей ели, уже несколько лет выводит своих детей волчья семья. Соседи не покушались на её покой, у них свои заботы. Да и она пока вполне здорова и сильна.

Конечно, было бы спокойней, когда бы рядом дышал её повелитель, её бык, её муж, но олень-самец – величественный, недоступный, оберегающий свою нежную молодую корону от кровососов, – поднялся сейчас к тем высоким пикам, что снежными боками сверкают на солнце всё лето.

Каждому свой удел – это она понимала: он, её повелитель, был Продолжателем жизни, духом и силой; она – Носительница, молоко и кровь новой жизни, уже вполне ощутимо пульсирующей у оленухи в животе.

У серых соседей, у волков, оба родителя поднимают маленьких, но это их дело, им данные законы.

Быть может, отчасти ещё и поэтому, от одиночества своего материнства, ждала старая маралуха сына... Чтобы его глазами увидеть тот путь к заснеженным вершинам, которого ей не дано пройти.

Телёнок появился, когда луна уже угасала над ущельем, угасала и блекла под первыми, ещё далёкими и призрачными бликами утра. И всё же лунный свет успел облить серебром мокрую дрожащую спинку новорождённого, чуть сверкнули голубизной, задрожали растерянные глаза, малахитово заволновались младенческие пятна на хрупком тельце, которое вылизывала счастливо облегчённая маралуха.

Но вот и первый солнечный луч сквозь мохнатые лапы елей ворвался в ущелье, путаясь в ветках рябины и стрелах таволожки. Этот лучик сразу вызолотил новоявленного оленьего принца, заиграл рыжиной боков, заставил пятнышки на спине пуститься восторженным хороводом. В бликах солнечных зайчиков матово лиловели влажные глаза оленихи, она заново переживала полузабытую сладость опустошения вымени, в которое неровно толкались губы сына, захлёбывающиеся собственной торопливостью. Сына...

Здесь она чувствует другие – уверенные и сильные – губы. Лишь сей-

час вспоминает маралуха о своей прошлогодней дочери, всё ещё росшей при ней, спустившейся следом и в эту ночь. Мать осторожно лягает лакомку, укоризненно мыкает на глупое младенчество тёлки, пробуdivшееся так не ко времени. Сестрёнка явленного только что малыша неохотно отходит в кустарник, под которым рассеянно находит губами траву, медленно жуёт, не отрывая вопросительного взгляда от сосунка на подрагивающих игрушечных ногах.

Спустя несколько дней они втроём выходят из ущелья в ближний лог, по которому перешёптывается трава, стрекодут сверчки и гудят припозднившиеся шмели.

III

ТОЙ ЖЕ лунной ночью в соседнем отщелке на свет божий явилось сразу пять новых жизней.

Пять щенков слепо шевелились под брюхом волчицы. Усталая, похуdivшая так, что рёбра, казалось, грозили прорвать шкуру, волчица-мать вылизывала каждый круглый, мокро-серый попискивающий комочек. Свет луны, холодно пламенеющий у входа, в логово не добирался, но взволнованному отцу – матёрому волку с сединами на скулах угрюмой головы, плотно утверждённой на короткой бычьей шее, – вовсе и не нужен был свет ему, опытному мужу, чтобы разглядеть своё невзрачное, слепое, восхитительно беспомощное потомство.

Восторг заставил забыть привычную сдержанность и толкнул было отца к новоявленным чадам в надежде, что и ему позволят прикоснуться... однако чуть уловимое рокотанье остановило его на пороге и пристыдило. Не время...

Ещё несколько минут посидев у свисающих над входом корней, смущённо улыбаясь и наклоня тяжелую голову из стороны в сторону, чтобы распознать новые голоса в логове, отец-матёрый беззвучной рысью заторопился вниз, к реке. Пробежав потом ещё километра четыре по течению реки, матёрый по знакомой трещине в почти отвесной стене над водопадом поднялся наверх.

Дальше открывалось горное плато, мягкими складками холмов плывущее к новой гряде гор.

И тут, в безопасном далеке от затаённого логова даёт отец-матёрый выход своему восторгу Продолжателя: песня давно клокотала в его горле, и теперь вот – навстречу нарождающейся заре – освобождает он звуки, стеснённые в груди. Навстречу новому дню посылает он чистые и нежные рулады, неожиданные для лешачьего грубого хмурого обличья. Кажется, даже и водопад подстраивается своим рокотом под эти освобождённые горлом звуки. И воздух, розовея, плывёт в такт всё выше поднимающейся ноте...

Где-то в отдалении раздались голоса похожие, и в лесную песню вплелась новая волна, не повторяющая, но ширящая мелодию, словно альты подхватили теноровую партию и понесли её ещё выше, выше...

Восторг и жуть охватили плато.

Вот матёрый прервал соло, звук сгустился, опадая к земле. Волк прислушался, а по горлу ещё катился комок, так и не ставший новой руладой. Альты раздались поближе, тоже примолкли, словно ещё готовые продолжить, словно ожидая следующего сигнала. Где-то очень далеко таякала собака.

Появились два молодых волчонка, уже достаточно взрослых, но не заматеревших. Приблизились, припали к земле передними лапами подле сидящего отца. Словно поздравляя, потерлись лобастыми головами о его бок. Подошёл и третий, постарше. Матёрый проворчал, будто отдал распоряжение, и вот уже все порысили в разные стороны. Теперь каждый из них должен охотиться за двоих, если хочет остаться в угодьях логова.

И каждый должен охотиться подальше, чтобы – не дай бог! – не навести за собой преследователей.

* * *

...У себя в логове волчица, конечно, не слышала супружеской песни. Она знала осторожность главы семьи, это не первые их совместные дети. Знала об осторожности, потому и не беспокоилась. И всё же, когда у входа появилась её взрослая дочь, не нашедшая себе пары нынешним январем, мать-волчица не отослала ту на охоту.

Пусть будет рядом, так спокойнее.

Слепые комочки копошились у брюха: вот один, второй... вот уж и четверо приспособились, только последний болтался пищащей головой, тычась в бока и зады других волчат. Мать носом тычет, подталкивает его к свободному соску. Захлёбываясь молоком и воздухом, чихая и поскуливая, пятый щенок принялся догонять остальных...

У волчицы бурчало в желудке, ей хотелось пить, и бок занемел, но она терпела и старалась не менять положения своего измученного тела: первые струи самые животворные для новорождённых, только молоко понастоящему согреет их. Лишь дождавшись, пока отвалится последний малыш с раздувшимся полным пузиком, мать позвала старшую дочь. Та, будто занималась этим всю жизнь, легла на место волчицы, угревая сонный клубок щенков, лишь заворочавшихся при такой замене.

А мать-волчица ушла к ручью.

Солнце уже высоко поднялось в голубом далёком небе, когда неслышно возник у логова старший волчонок позапрошлогоднего помёта. Тёмный ремень горбатился по его спине, а морда волчонка излучала горделивость собственным успехом. И любопытство. В стороне от входа

он наскоро отрыгнул несколько кусков мяса и заглянул в пещеру. Заходить внутрь ему было нельзя – он знал это, зато на пороге можно насладиться знакомым теплом родной колыбели. Молодой волк не ревновал к матери эти чуть заметные в сумерке логова буторки, даже, пожалуй, был благодарен им за возможность снова очутиться у собственного щенячьего места, припомнить и свою такую же толкотню у материнских сосцов. Он лёг, положил голову на лапы, словно прикасаясь носом к незримой стене, отделяющей вход. Тёплые сладкие запахи трепетали в ноздрах, и в этом коротком удовольствии прибылой* зажмурил глаза, наслаждаясь покоем. Он будет кормить их, он станет охранять их, а потом играть с ними и обучать...

Молоденькая волчица деликатно отводит глаза, когда мать торопливо глотает свежие куски.

Здесь подоспел и глава семейства, выложил своё угощение, тихонько буркнул старшему сыну, тут же и отодвинувшемуся от входа, и присел с ним рядом. На лобастой морде расплылось умиление, матёрый ловил каждый шорох сумрачного гнезда своих чад, и ничего больше ему не было нужно... Молодая волчица осторожно исчезла.

* * *

Так продолжается три недели.

В соседней щели оленёнок давно надёжно держится на ногах, уже весело носится со старшей сестрёнкой по лугу, уже пробует пощипывать нежную траву и достаточно далеко может бежать, не отставая от матери-маралухи.

Больше всего ему нравится бегать кругами, догоняя ребячливую сестру, скакать по мокрой от росы траве, доходящей ему почти до плеч. А потом, притомившись, ткнуться в тёплое, надёжное, сытое брюхо оленихи, припасть к благодатному вымени.

Да, а здесь три недели прошло, прежде чем волчата решились робко переступить порог пещеры.

Там, снаружи, их ждёт отец, губы его растянуты в нежной улыбке, а передние лапы, утратив присущую хозяину важность, суетливо переступают на широких подушечках, сведённых теперь судорогой нетерпения.

Чтобы поощрить детей на первый подвиг, отец-матёрый выложил перед ними равные, словно отвешенные на весах, кусочки мяса – ровно пять, каждому по доле. Рядом с супругом поощрительно повизгивает волчица.

Неуверенно, бочком-бочком, цепляясь лапой за лапу, удерживая тяжёлую голову слишком ещё тонкой шеей и всей нескладностью своего тельца будто мешая самому себе, – самый храбрый щен всё же пробирается к лакомому кусочку, хватает, урчит и захлебывается... Тут уж и

* Прибылой – прошлогодний, годовалый волчонок



остальные, подстёгнутые плотоядным урчанием, не выдерживают: косясь друг на друга, ослепляясь непривычным светом, расхватывают свои куски, топырчатся шерстью на загривках, торопятся, давятся, глотают.

А здесь ведь – смотри-ка! – веселее, греет солнышко, да и места побольше!

Только что ещё опасливые и неуверенные, настороженные на любую былинку, вот уже все пятеро сосунков остервенело набрасываются... на умиротворённо прилёгшего папашу. Иголки их молочных зубок малы, но пронзительно остры, а волчата самозабвенно вонзают их в отцовские губы, вцепляются в хвост, норовят добраться до ушей – будто знают, где уколы ощутимей.

А лобастый папаша лишь сжимается, осторожно крутит башкой, поджимает пальцы и растерянно, а всё же довольно, ухмыляется, терпя свои сладостные муки.

Когда же волчатам надоедает это живое и послушное поле сражения, они переключаются на мать, нещадно барахтаются, елозя по её боку, догоняя друг друга, сосунки царапаются, кусаются, пускают по ветерку бурые клочки шерсти. И всё это, как положено, – молча.

Отец-матёрый стоит еще немного над всей этой кутерьмой, вполне удовлетворённый чадами, затем тихо скрывается – пора добывать ужин, теперь он должен быть более плотным.

IV

... – НУ, ВОТ и добро: плотный завтрак сейчас впрок пойдёт. Весь день, небось, задницей хлопать придётся. – Худой высокий человек, одетый в зелёное, подошёл к неказистой лошади. Достал из кармана притороченного к седлу вещмешка фляжку.

– Хлебнёшь, братишка?

– Немного.

Второй погрузнее, хоть и моложе брата, но уже набирает ненужный жир. Одет так же, как старший, только всё – более поношенное, бывалое: штормовка на толстом свитере, зелёные джинсы из палаточного

брезента, кирзовые сапоги, солдатская шляпа-панамы. У обоих позади сёдел на лошадях приторочены полушубки, через сёдла вместо одеяла или попоны для мягкости переброшены спальные. В общем, экипировка для гор и удобная, и надёжная. Продуманная.

На братьев, если не знать и не очень приглядываться, выискивая фамильные черты, они мало походят даже лицами.

Старший, с костистой, вытянутой физиономией, которую большой нос «картошкой» делал бы простоватой, своей, если бы не тонкие губы и небольшие, прячущиеся в прищуре бойкие глаза, в их взгляде можно уловить немалый житейский опыт и жёсткость.

У младшего, под стать телу, лицо мясистое, оплывающее, фамильный картофельный нос здесь как нельзя кстати подходит толстым губам, заплывающим глазам, взгляд которых, однако, цепок и нагловат в своей прямолинейности.

– Ты учти, что у меня четыре дня осталось. Отпуска-то. За свой счёт, да и те еле выколотил... «по семейным причинам». А ты говоришь, мол, ещё и летом вырваться, – сказал старший. – На работе – объект разведывать. Ещё и командировочные. – Он хохотнул на слове «объект» и повел рукою вокруг себя подчеркнуто-театральным жестом. – Природа!

Младший хмурился каким-то собственным мыслям и молчал.

За плечами у каждого простенькие двустволки шестнадцатого калибра, такие и терять не жалко. У того, что моложе, – здесь ни стесняться, ни опасаться уже некого – из-за голенища торчит «вкладыш»*.

– Мне тоже – не очень-то удержишься, каждая скотина завистливая норовит ножку подставить. А намекаешь, что в долю возьму, мол, чем деньги в землю зарывать, – и хочется и колется, бляха. Чистенькими хочется остаться... Обидно: за экспедицию четыреста шкур спустили гнить, а начальник трухнул сбить их... делов-то, тьфу! – Он сплюнул смачно и зло.

– Не вышло со шкурами?

– Вышло, да мало. Словам красивым все научились... «пли-рода-а»! И егеря что-то косится. – Бормоча, он снял ружьё, переломил его на луке седла, достал и вставил в правый ствол «вкладыш».

Пегая собака, всем, кроме масти, похожая на овчарку, только посуше и полегче на ходу, при этом жесте хозяина и клацанье закрывающихся стволов оживилась, мотнула хвостом и скрылась в перелеске.

– Ты ж с ним в друзьях, говоришь, был, с егерем?

Младший промолчал, доставая сигарету. Сидел на лошади он тяжело, двигался порой так, что мерин под ним покачивался и сбивал ногу. Тогда седок хватался за луку и злобно дёргал повод, отчего лошадь ещё больше сбивалась с шагу, седок в седле мотался тряпичной куклой и ругался.

– Сколько лет на своей станции, а к лошадям так и не привык? Вроде,

* Вкладыш – вставной нарезной или саморасточенный ствол, употребляемый браконьерами

каждое лето в экспедиции... не пешком же ты своих чумных сурков отлавливаешь?

– Не привык никак. Тяжеловат слишком... да и боюсь их, признаюсь, лошадей этих. Не люблю. И каждое лето вот так маешься, с мозолями на заднице домой...

– Валентина-то терпит? – хмыкнул старший.

– Куда денется, лето без мужика. Наскучается, поди! Зато и худею за сезон. И в карман потом не стыдно залезть.

– Да-а, жирку бы побавить не мешало, зимняя водка не в прок тебе.

– А без неё – что зимой в конторе нашей... чумные противочумники. И егерь ещё не пьет, зануда. Ха!.. зайцев, говорит, не стреляй.

– Ты его о маралах не спрашивал?

– Наводить, что ли? И так, говорю, косится, обирючел здесь, ничего ему не надо... Да я и без него по прошлому сезону тропы знаю. Отары ещё не пришли сюда, пантач не должен высоко подняться.

– Одно-то не больно жирно на двоих...

– Найдём и двух. Должны быть. Пальма, она найдё-от! Мне Гарик нахваливал её. Лишь бы навела... я сейчас и за двести метров возьму.

– Да-а, вкладыш ты добыл знатный. Давай-ка... здесь ножками пройдем, оно надёжней будет...

Тропа круто ныряла вниз и вилась по буроватому склону, истоптанному скотом еще допрежде. Оба охотника спешили, осторожно начали спускаться, ведя лошадей в поводу. Лошади были привычные к таким дорогам и к таким ездокам, этих коняг не однажды отдавали хозяева напрокат за чай или ещё какую надобность наезжим промысловикам или рабочим экспедиций. Привычные и равнодушные ко всему, кроме травы и зерна.

На противоположном склоне этого межгорья виднелось и продолжение тропы. Так же отвесно, как спускалась вниз, тропа там поднималась и терялась за хребтом в елях. Собака, темпераментный выродок лайки, очень довольная волей, сновала от лошадей в лес, пропадала, снова молча появлялась – чтобы только убедиться, в каком направлении едут всадники, и вновь исчезала в подлеске и ёлках.

– Встретиться здесь никто не может? – Старший всё время оглядывался по сторонам, он и вообще был подвижней мешковатого брата своего.

А тот шёл угрюмо, набычившись, не глядя по сторонам, однако, кажется, примечая всё, и шёл – неожиданно по своей комплекции легко. Братья оба были неплохими ходоками, им пешком явно было привычнее и надёжнее, нежели верхами.

– Никого не должно в это время. Разве что такие же... «изыскатели», вроде нас, ха, – хмыкнул, довольный собой. – А на таких у меня чистые акты всегда при себе!

– А егерь?

– Не собирался. Да и что у него – вертолётками их, слава аллаху, не снабжают, такая ж лошадь... А гор у одного под дозором – эвон сколько... их здесь и пятеро затеряются, в год не сыщешь.

Между тем пошли более короткие, более крутые щели, тропа вовсе сузилась, и промышленники теперь ехали друг за дружкой. А собака всё большие окружя обегала, всё ширила круги, в центре которых оставались седоки. «Ищи, Пальма, ищи, взять его...» – поощрял грузный всадник собаку, когда она приближалась. Впрочем, было видно, что подогреть её и ни к чему: сама возбуждена запахами.

– Мне всё кажется, – пробормотал старший, привставая на стременах и озираясь, – кажется всё, что следит кто-то... вот не вижу, не слышу, а чувство какое-то дурацкое есть. Вдруг волк подстерегает?..

– Кого там подстерегает. А хорошо сделал бы, если б шёл по следу. Глядишь, поживится. Ты не бери в голову – мы здесь самые страшные звери! Нет дураков на нас нападать. Волки да могильники нам друзья сейчас: в ночь и следа нашего не оставят, если повезёт, конечно... тьфу-тьфу – не к тому будь сказано. – Младший улыбается своим мыслям и стегает зачем-то лошадь.

– На волка многое свалить можно, братишка, – чуть погода добавляет он. – Вот, коли время останется, мы ещё одно местечко проверим: может, логово то и жилым окажется. Стоп!.. – Он натянул поводья и поднял руку. – Сейчас тихо! Ти...

Снизу донёсся приглушенный лай. Сперва отдельный, словно бы и неуверенный. Затем – всё подробнее, вот уже почти с переходом на визг.

«Быстрее», – сразу переходит на шёпот младший, мешковато спешиваясь. И на земле становится подвижнее спутника.

Наскоро и точно вяжет поводья обеих лошадей. Вставляет патроны и щёлкает замками курков. «Картечью заряди». – «Да знаю!». – «К тому разрезу беги, никуда больше не пойдёт». – «Откуда зна...» – «Ш-ш! Я вниз. Жди, пока не позову, да не мажь, если...»

Грузный охотник бежит по отщелку. Шипичка и трава цепляют за ноги. Ноги подвертываются на кочкарнике. Метров сто пятьдесят торопливо, наклоняясь и цепляясь одной рукой за траву, карабкается на взгорок. Так, неслышным зверем на трёх опорах, споро поднимается он. Ружьё сжато в цевье левой рукой. Падая, он держит ружьё на весу и вновь, цепляясь и стелясь, поднимается выше. Добирается, наконец, наверх, на взлобок холма – прислушивается, притушая зубами дыхание. Дышится трудно. По лицу и спине льётся пот, ему хочется громко и свободно схаркнуть горячий клубок в лёгких, но промышленник лишь судорожно сглатывает и глубже вдыхает воздух. Даже ладонь с ружьём взмокла, приходится перебросить ружьё в другую руку, наскоро потереть о штанину скользкую ладонь.

Лай – теперь уже вовсе откровенный и призывно-заливистый – подпрыгивает снизу, подстёгивает, зовёт.

Охотник почти перескакивает ещё один взгорок. Почти на задку юзит вниз по траве. К редким кустам. Во-от!..

Крупный олень с малоразвитыми ещё весенними – в бархате! – рогами стоит над небольшим ручейком.

Молодые рога оленя кажутся хрупкими и невесомыми – так массивна голова его, высока шея с тёмной гривой, широк круп и мощно тело на высоких ногах. Молодые рога его ржавеют в приглушённом вечернем свете, держит он рога свои бережно, высоко и недосягаемо для собаки, на которую олень презрительно косит глазом.

Пальма остервенело мечется вокруг, сторожа уход марала, но и оберегаясь, однако, подскакивать близко.

Неподвижность марала полна силы и очень динамична, кажется – он лишь задержался посмотреть и сейчас уйдёт прочь, вместе с ручьём уйдёт, вместе с облаком над ним. Собака уже надоела ему. И он делает спокойный широкий шаг...

«Стоять, не уйдёшь», – шебуршит мысль в голове за кустом, не может услышать эту шероховатую мысль пантач.

И громом гремит выстрел. Грохот его кажется ещё страшнее и жёстче от неуместности здесь – среди тишины и благолепия, не очень-то и нарушенных лаем.

Грохот выстрела ревет по хребту и бурым скалам старых обвалов, прыгает по валунам убегающей речушки, поднимает в воздух синичку-трясогузку, катится – остывая – от щели к щели, от ёлки к ёлке.

Тихий треск кустов под упавшим на широком спокойном шагу оленем слышит только собака.

Человек подкатывается к маралу, которого ещё бьют судороги, но глаза которого уже подёрнулись пеплом.

Человек ткнул животное сапогом, деловито вытащил нож, отворил выгнутое горло оленя. И бросается рядом на землю, косясь на толчки крови, увлажняющей траву.

Пальма слизывает струйку крови, вытекшей из-под закушенного языка пантача...

Старший брат вскоре подходит на зов.

– Топорик, конечно, забыл прихватить? Ладно, вырублю ножом, покура пока. – Младший глубоко и с наслаждением затягивается дымом.

Начинает смеркаться, тени под деревьями темнеют, становятся лиловыми. На лице у стрелка расплывается ленивое спокойствие, щёки маслянисто круглятся и наплывают на подбородок, глаза прячутся в расслабленных веках. И собака с ним рядом отбрасывается сыто на бок, прикрывает глаза. На рыжеватом круглом брюхе оленя лежит ружьё.

Лишь вновь подошедший топчется, явно ощущая себя чужим здесь, тревожно озирается, поднимает лицо к небу.

Там, в небе, высоко парит птица.

– Гриф, – поднимает голову и сидящий. – Да не менжуйся ты – никого не будет. Сейчас сам вырублю, с пантами осторожно надо – лекарство ведь...

– Так всё просто: один патрон и... центнера четыре лежат падлом. А жило же, любило!

– И тыщи полторы лежит – не мясо, а вот эти рожки, – усмехается стрелок. – Искать да лазать за ним трудно, а шлёпнуть – чего проще. На то нам, человекам, и умишко послан. А ты говоришь – волк! Да-а... что ж – егерь, он здесь один... а нарываться на него не резон. Из принципа, гад, прижмёт, и прав будет. Один он здесь, понимаешь, Генка... штрафом ведь за рогача не отделаешься...

– Ты многому по лесам-горам научился, братишка, но именами-то не больно разбрасывайся. – Старший вновь озирается в темнеющий на глазах лес. – Не в такси на концерт едем, мне репутация дороже твоих рожек досталась... Иванов да Сидоров – все званья наши...

– А-а... репутация, были б тугрики. Не менжуйся! Всё на этом свете у человека покупается. Да и потом, думаю, тоже! Да-а, один он здесь... не попадаться бы ему. – Охотник резко встал, достал нож. Подобрал у ручья круглый голыш. И, опустившись на оба колена, пристроился вырубать бархатистые, в молодой замше, рога. – Ты пока вот окорока отрежь. Пальме на дорогу, да нам подкрепиться. Печень бы неплохо достать, да возиться не хочется, устал. А тебе не в привычку... – Он говорит и споро делает дело своё: череп оленя уже обезображен чернеющей мокрой дырой.

– Не стрелять же нам в него, – бормотнул худой, передёргивая плечами при взгляде на вымазанные руки брата.

– Кто знает... кто узнает... один он здесь. Горы здесь.

– Здесь... здесь тебе видней, ты проводник. Только и риск зряшный ни к чему – у меня дети, не забывай.

– Ладно, для детей и стараемся, – бурчит грузный младший брат, наклоняется к ручью, чтобы обмыть руки. – Здесь уж иди, куда веду. Коль попал. И давай сворачиваться, ещё лошади не ушли бы.

Он выпрямляется, потягивается, обтирает мокрые руки о штаны.

– Эвон волкам стерва сколько, – махнул рукой на тушу. – Порезвятся ночью...

V

ВОЛК-ОТЕЦ и в самом деле шёл за ними.

Сейчас ему была нужна любая добыча, и матёрый часами кружил ле-

сом, косогорами, пересекал щели, лежал у сурчиных нор. И ничего не попадалось, бывает и так.

На одном из кругов своего поиска волк учуял чужой запах, а позже разглядел с холма и охотников. Находился он с подветренной стороны и достаточно далеко, собака его не чуяла. Ничто ему не угрожало, это зверь знал. Ещё в прошлом году, вот так же услышал невдалеке выстрел, но пропустил спешащего человека, а потом осторожно зашёл ему в след и набрел на тёплого ещё оленя. Матёрый воспользовался им тогда, взрослого оленя они и стаей-то берут при большой удаче...

На этот раз грифы кружили над тем недалёким местом, откуда до волка донёсся выстрел. И он заторопился, потому что грифы, которые служили ему компасом, ждать не станут. После них и клочка шкуры не останется.

Матёрый пробежал в ту сторону, покружил немного и взобрался на возвышение, лова носом запахи, которые приносило слабое вечернее дуновение.

Пахло травами, на них уже пала роса. Пахло перемешанными ароматами влажной зелени хвои с нагретой за день хвоей сухой, осыпавшейся. Сухой жар остывающих камней и острота лежалого птичьего помёта. Вот терпко и пряно пахнул арчевник. Сладковатый першащий запах крови и пороха.

Но матёрый ждал другого запаха. Он тенью перебежал на новый пригорок. Вот: режущий горло запах дыма смешался с вонью горелого мяса и человеческих испарений. Оттуда же шёл дух высыхающей влажной собачьей шерсти, конского пота. Далек от того места, где на верхушках елей раздраженно каркали вороны, волк заметил блики – там был очаг людей.

Теперь он уже спокойно и ровно понёсся к месту, где надеялся найти ужин волчатам и их матери, ожидающим его в логове. Было бы неплохо наесться всей семье...

Несколько чёрных птиц с тяжёлыми крылами, волочащимися по земле, светлели головами возле туши марала. Они поочерёдно наклонялись, рвали мясо клювами будто клещами. Здесь же скромно тянулась мордой лисица с разномастными клочковатыми впалыми боками, сосцы у неё почти касались земли. Наверху, ожидая очереди, волновались вороны, нервно потрескивали сороки. Это хорошо: при опасности сороки поднимают такой треск, что мудрено попасться врасплох. При подходе матёрого лиса шмыгнула в кусты, но чувствовалось, что она недалеко и надеется ещё урвать свой кусок. Пусть надеется. У неё сейчас тоже дети.

Грифы грузно отскочили на несколько шагов. Волк принялся за уже раскрытый грифами желудок. Два могильника подобрались к морде оленя, не обратив внимания на угрожающее бурчание матёрого. Они признавали его права, но не забывали своих. Связываться с птицами волк не стал.

Матёрый выдрал печень, утащил её метров за двадцать под ёлку, закопал в мягкой прошлогодней хвое, для верности задними лапами набросал сверху моха и шишек. Пометил место струёй и вернулся, чтобы насытиться самому.

Наглотавшись ещё не остывших кусков мяса, отец-матёрый медленно побежал домой...

Когда он с тремя сыновьями и дочерью вернулся под утро к туше, здесь пировали вороны, другая лиса и два малютки-горностаи, которые так дружно-яростно скалились на лисицу, что она отбежала на другой конец мараловых остатков. Довольные волки почти ничего не оставили после себя, лишь вороны да сороки могли чем-нибудь поживиться. Матёрого даже не очень огорчила пропажа зарытой печени, которую, по всем признакам, растащили всё те же горностаи. Впрочем, какая-то лиса здесь тоже топталась, но в ней больше страха, чем в мелких юрких зубастиках с чёрно-белыми хвостами.

К логову они подошли, когда солнце уже стояло высоко. Поэтому пришлось несколько раз обежать вокруг, прежде чем нырнуть в родной отщелок. Зато какими радостными щипками головастых детишек вознаграждён был лобастый волк за ночные свои старания!..

Счастье просто улыбалось семье отца-матёрого.

* * *

...А в соседней щели счастье было под угрозой.

Ранним-ранним утром, когда дрожащий воздух покалывал дымкой поднимающегося тумана, в котором танцевали зайчики далёких солнечных лучей, мать-олениха наслаждалась беззаботными прыжками своего юнца и медленно пережёвывала влажные от росы стебельки кипрея...

Тоненькие ножки оленёнка уже уверенно пружинили в почти неведомых прикосновениях к земле. Казалось, он – лёгкий, стремительный, соразмерный – летит над орошёнными предутренней дымкой цветами. Всё доставляло ему безоглядную радость: лиловый цветок, белая капустаница, низко пролетающий пёстро-серый дрозд, шаловливые тычки сестрёнки. В его глазах, таких бархатистых и наивных, попеременно отражались все краски этого хрустального утра. Голубые, алые, лиловые, золотые, изумрудные. Отражались, блестели, переливались оттенками... и – тонули в глубине чёрно-фиолетовых глаз, ещё не познавших ни испуга, ни грусти.

Солнце поднимается всё выше, растапливая утреннее марево. И маралуха уводит детей в своё дневное затишье.

...Большая, лохматая, со свалявшейся буро-чёрной шерстью собака набрела на укрытие маралухи. Собака была бродячая и голодная. Такие изгой очень цепко держатся за жизнь. Опасаясь всего и ничего не боясь, они подстерегут отбившуюся к вечеру овцу, прирежут её, а через

час будут вертеться у юрты в ожидании отбросов. Этой собаке не везло несколько дней, а охранять ей было нечего и ждать куска не от кого: её выбросили ещё щенком, но она выжила. Она была голодна, а голод ослепляет и делает бродягу опасным. Голодный волк не решился бы напасть на маралуху с детёнышем, но у пса не было сомнений и опыта поколений волков, пёсьи предки вырастали рядом с людьми. Перед голодным псом открывалась живая еда, которую нужно было лишь отбить, так принято в своре.

Мать вжала детей в низкие пружинящие лапы ели, отбивая терпеливые атаки пса. Собака была увёртлива, а маралухе в щели негде было развернуться, и страх не давал ей отойти от оленят.

И неизвестно, чем бы кончились всё более остервенелые наскоки, если бы не... испуг сестры, да ещё, наверное, и – судьба, оберегающая будущего Благородного к его последней встрече с Серым Вожаком. Та самая судьба-предназначение, что позже не раз охраняла и Серого Вожака от многих опасностей для последней встречи с тем Проводником, который ещё не однажды пройдёт по этим горам в охоте за молодыми рогами-пантами и станет виновником первой встречи оленёнка и волчонка ещё в младенчестве, и другой встречи... Но это всё – позже, хотя младенчество лесных детей уходит быстро.

А пока, что бы там не было – судьба или случай, но рядом с дрожащим материнской тревогой и ничего не понимающим оленёнком его сестрёнка от ужаса теряет над собой власть. И вырывается из-под оберегающего материнского бока. И несётся вверх, напролом через кусты.

И собака понеслась следом, довольно повизгивая. За ней, молоденькой самочкой, обречённой на самостоятельное спасение и самостоятельную отныне жизнь. Закланной, потому что маралуха предпочла маленького. Чем закончилась эта погоня – кто знает, но оленёнок больше никогда не встретился с этой сестрёнкой.

А мать-маралуха уводит сына в противоположную сторону, без тропы и без сознания, одним грохочущим инстинктом – скрыть, уберечь малыша, своего первого сына.

VI

НЕСМОТРЯ на усталость после ночных побегов, отец-волк терпеливо и благодушно сносил озорство своих насытившихся чад.

А они – всем гуртом – напали на беззащитного в своей любви папашу. Эти головастики хватили лобастого волчину за нос и за губы, норовили прокусить подушки лап, которыми прикрывал морду, рвали жёсткую шерсть старательно и всерьёз. Ничто, казалось, не могло замутить главе семейства радости общения, счастье, казалось, прочно улыбалось его выводку.

Однако отец-матёрый обманулся в своём счастье.

В этом году ему не пришлось провести волчат по охотничьей тропе. Не пришлось дожидаться новых детей: через полгода, ранней зимой, он упал над только что пойманным зайцем, под близкой вспышкой огня. Лишь одному щенку повезло быть всегда сытым, всё своё короткое детство – может быть, именно ему перешла часть отцовской утрюмости, за которой скрывалась заботливая любовь...

Матёрый рано порадовался счастью. Но никому не дано знать тропы, по которой идёт он к судьбе. Быть может, матёрый чувствовал это и потому отдавался минутам игры с детьми, подставляя им себя на растерзание.

На следующий день, когда никого взрослых, кроме волчицы не было, в отщелок спустились люди, ведя под уздцы упирающихся лошадей. Мать услышала не их: напряжённо, с подвываниями, лаяла собака, лай срывался на скулёж, и она жалась к ногам людей.

Волчица успела выхватить из кучи ничего не подозревавших кутят одного. самого медлительного. самого слабого и потому чаще других требующего её внимания и помощи у сосцов. Как ни странно, он оказался – на беду её – и самым тяжёлым, может быть, она успела бы унести и ещё одного... И щенку тому предстояло ещё долго жить.

– ... Где-то здесь. Ищи, Пальма, взять... ф-фас их!

Тот, что повыше, держал наперевес ружьё, щёлкнули взведённые курки. Младший брат обернулся к нему.

– Зря беспокоишься, не будет волк их защищать. И волчица – не будет. Идти за тобой будут, надеяться будут, что выронишь или оставишь... а защищать – не-ет! Волки: у них и законы волчьи...

Она, действительно, не бросилась к своим горячим выкормышам на помощь, хотя вернулась и видела логово сверху. Она видела, как вытаскивали по одному её детей, как – несмышлениши ведь еще – царапали они, кусали чужие лапы, как беспомощно и молча барахтались в этих лапах. Слышала раздражённые голоса, повторяющие одинаковые трескучие звуки, когда кутята – её дети! – впивались иглками зубов. Видела, как ударяли их крупными головами об один и тот же валун, что издавна порос мхом рядом с корневищем логова.

Она видела и ничем не могла помочь им: инстинкт, новый могучий инстинкт, привитый теми же людьми, повелевал ей побережь себя во имя более верного, более надёжного сохранения и продолжения их гордого, сильного рода... Она знала, что тот же инстинкт-табу на человека отбросил бы от логова и её друга, их отца, будь он здесь. Жить. Жить во имя того малыша, которого она успела отнести недалеко и которого надо успеть упрятать в новом надёжном месте... Жить во имя тех волчат, которых родит она на следующий год.

Но и уйти волчица не могла, ждала чуда. Жить и ждать. Нет, ждать и – жить!..

– ...Со вторым пантачом не повезло, хоть здесь доброе дело сделать, м-мать твою, – говорил худой, ударяя захлёбывающегося волчонка о камень.

– Слушай, старшой... а-а гадёныш, еще кусается!.. – слушай, я возьму, пожалуй, одного живьём.

– Зачем он тебе – всё равно, говорят, не приручишь. Да и овсянку он жрать не будет, ему – кха-ак, вот так-то! – ему мясо подавай. Не зря ж за них премии дают.

– Пусть вырастет, с Пальмой погуляет. Никакой зверь тогда не скроется – ты вперёд смотри, то охота будет!

– Как хочешь, а только зря полсотнями разбрасываешься.

– Тридцать за щенка... Небось на сурке наверстаю, и ещё пантач не уйдёт.

– Не шелуши языком зряшно. – Старший оглянулся, сплюнул, складывая в промокающий на глазах мешок мёртвых волчат. – Своего бы егеря сюда... Места здесь богатые. И кабан есть?

– Навалом. А мы за лето что-нибудь придумаем, пока здесь с экспедицией. Письмишко там... народ организуем, да шкуру-другую найдём. Придумаем... Одному бы можно лапы переломать да оставить, мамочку с папочкой их дожидаться... Да место бойкое, с нашим грузом палить не резон.

– И времени нет здесь валандаться. Бросай зверёныша в мешок, ничего ему не делается, злее будет! – А сюда они больше не придут...

Волчица слышит жалобы живого волчонка в мешке за плечами грузного охотника и идёт за ними. Идет у них над головами, почти след в след, не думая, что может быть увидена. Впрочем, внутренняя осторожность срабатывала сама: волчица скользит неслышным дневным призраком, сливаясь с кустами, камнем, травой, с собственной тенью. Сосцы её набухают, саднят на такой жаре невысосанными, сердце колотится и щемит. Мать-волчица долго ещё смотрит в ту сторону, куда увезли её детей люди, неловко вскарабкавшиеся на лошадей. Она не забыла про своего оставленного в углублении под кустом любимца, но он сейчас в безопасности. А тех других – остальных, всех! – уносит навсегда человек. Она стоит, худая и понурая, набухшие сосцы висят почти до земли и качаются от неровного дыхания. Потом она поворачивает назад.

Так и волчонок остаётся у матери один.

VII

...ДА, ЖИЗНЬ бывает жестока: природа частенько проверяет детей своих на прочность и на красоту. Она словно специально подстерегает твои слабости и ставит ловушки, чтобы убедиться в твоём праве на неё

и развить желание и силу – жить дальше... Волчонку, похожему на отца своей лобастостью, ещё предстояло испытание: застарелый капкан у сурчиной норы сомкнёт свои челюсти на передней лапе подростка-переряка, и ему придётся лишиться двух пальцев. Мать поможет ему зализать рану; а этот небольшой порок – словно предупреждение об опасности, ещё неспособное ослабить, – сделает походку волка валкой и разовьёт мышцы, привьёт гордое умение не отставать от соплеменников и осторожность, даст чутьё опасности и чужих запахов. Много уроков примет из беды сильный зверь – если он силён...

А жизнь полна превратностей, совпадений, кажущихся случайностью, но и утрата несет в себе доброту – если открыться её состраданию... Но жизнь и шаловлива, жизнь иронична. И жизнь прекрасна: прежде всего тем, что она – самотечна. Плохое сменяется хорошим, время стирает время, жизнь движется и движет, и приносит то, что она должна принести. Именно тебе. Именно – твоё.

А пока мать-волчица подняла единственного теперь детёныша по той знакомой ей трещине в почти отвесной стене над водопадом бурлящей горной речки, к которой припадали оба отщелка и над которой так недавно давал отец-матёрый выход своему торжеству, законному своему праву Продолжателя.

И другая мать привела оленёнка по той же, знакомой и ей осыпающейся розово-каменной трещине.

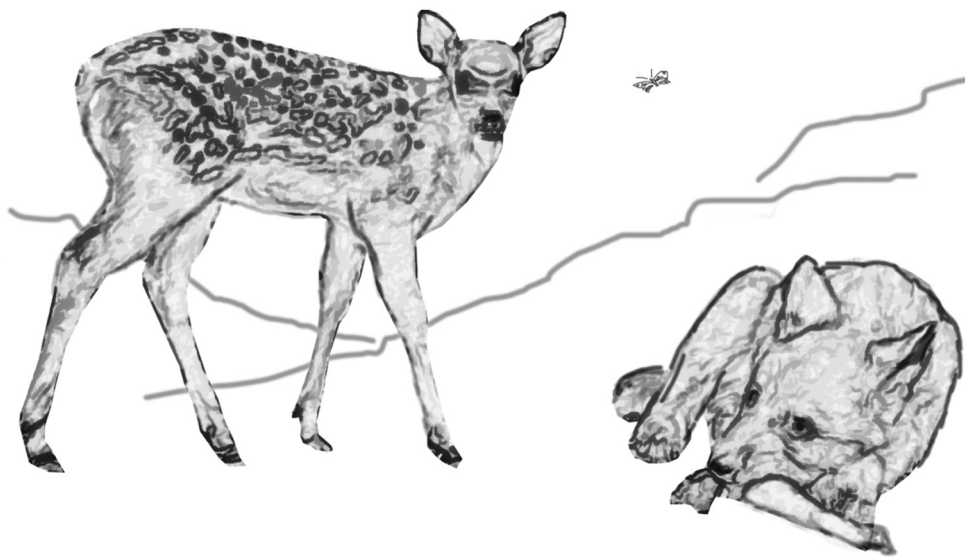
Водопад гудел своими заботами; река хлопала перекатываемыми валунами; всплёскивали в реке рыба-форель и рыба-осман, пытаясь взлететь по водопадной струе: солнце светило всем, никого не выделяя и никого не судя...

Они встретились – волчонок и оленёнок.

Однажды, когда волчица ушла с матёрым на охоту, лобастый круглый щенок – которому теперь с избытком хватало молока и мяса и который всё ещё поскуливал, вспоминая недавнюю толчею возле материнских сосцов, – этот нескладёныш-щенок вылез из-под-камня-из-темноты-мрака-скуки-одиночества. Он обманул не очень настойчивую бдительность молоденькой тётки, или кем там она волчонку приходится. Обманул и очень осторожно, очень беззаботно пустился за чёрно-рыжей бабочкой, вначале напугавшей его своим полётом.

... Оленёнок исчез из-под бдительного ока маменьки, не видящей никакой опасности на плавном волнистом плоскогорье с высокой, ветром колеблемой травой. Оленёнок тоже заметил большую чёрно-рыжую бабочку, которой как раз и не хватало, чтобы придать смысл прыжкам.

Бабочка была райской. День был райский. Настроение было райское. И хотя оба детёныша уже в полной мере познали испуг, хотя страх тёк в их крови из артерий их многочисленных предков как способ уберечься и сохраниться, – колеблющемуся розовому чуду было



дано свершиться. Райская чёрно-рыжая бабочка пролетела между волчонком и оленёнком.

На полном скачке затормозил оленёнок всеми четырьмя копытцами, да так и остался стоять, выставив вперёд прямые тонкие, стройные ножки, расставив их и склонив вопросительно мордочку с замшевыми настороженными ушами.

На полном бегу прилёг, вжался в землю волчонок, прижимая треугольники ушей к лобастой, всё тело перевешивающей голове, и прикрыл вздёрнутые раскосые глаза.

Они осматривали друг друга: матово-фиолетовые глубокие очи с уже просыпающейся тысячелетней грустной мудростью покоя и коричневые с круглым чёрным зрачком острые глаза, вобравшие в себя весь ужас и всю гордость силы тех же тысячелетий.

Они обнюхивали друг друга: от обоих ещё пахло материнским молоком.

Стоял июнь – кто, скажите мне, враждует, кто угрожает и кто пугается в июне, в жаркий багряный трепещущий полдень?..

Осмыслив всю невинность встречи, помчался по кругу оленёнок, приглашая нового приятеля порезвиться.

Принимая всю безопасность и веселье встречи, помчался за оленёнком волчонок.

Они менялись местами, увёртывались от шутивных наскоков, гонялись всё за той же или за другой бабочкой, смеялись солнечным искрам, которые прыгали в глаза и своим пёстрым танцем гасили злобу: детёныши были довольны собой и друг другом, разноцветьем прими-

наемых трав, учащённостью возбуждённо-беззаботного дыхания и весёлым потоком крови в горячих телах...

Волчонок ещё почти ничем не напоминал будущего Серого Вожака: лапы были толсты и расхлябаны, и пока подводили хозяина, цеплялись друг за друга и заставляли кувыркаться, а лобастая голова всё время перетягивала и мешала – шейка для неё была слишком слаба, а силёнки в озорном возбуждении убывали слишком быстро. Оленёнок же и тогда был уже законченным, стройно-стремительным, только младенческие пятна на мягкой шкурке, подростковая хрупкость да отсутствие рогов-короны ждало завершения всего, чем можно было позже восхищаться во взрослом марале, в Благородном.

Они встретились. Они были дети. И – играли. Это было неестественно, однако они ещё этого не знали: им было весело, радостно, дружно и счастливо. Так есть сегодня... Так было... ещё сегодня. Что ж, завтра... оно придёт – это завтра. И всё же сегодня этого танца, и веселья, и безмятежности никто не перечеркнёт. Конечно, оно придёт со своими заботами – завтра. Но ведь «завтра» – это другое, и мы – уже совсем-вовсе в нём – другие...

И блажен ты, если память о сегодня-«вчера» хоть немного задерживается, да и как памяти не задержаться! Они встретились. Рай, существующий до появления Адама, рай, им разрушенный и нарушаемый, казалось, готов обрести прежние силуэты в детской игре. Обрести в дрожащем розово-голубом мареве июньского горного полдня.

Как совместить: счастье и недоверие, счастье и страх, счастье и угрозу? Какой опыт, какой опыт опытов и обновлённых ошибок самоутверждения помогут избыть недоверие, страх и угрозу?.. Не жизни и смерти, нет: они гармоничны и естественны, как увядание и усталость. А только – счастья. Где тот опыт, когда утрачен? Память, память, её хранят даже камни и травы – память, так нужная человеку, чтобы не стать их врагом – вот этих резвящихся детёнышей, того грохочущего водопада, тех медленных облаков, часть которых – он сам...

Несутся безоглядно оленёнок с волчком за бабочкой. А вот и маралуха учуяла, узнала, увидела их, играющих. Её опыт, опыт матери и опыт матерей-матерей не допускал подобной игры, не оставлял ничего, кроме страха. И ярости за этот страх.

Мать-олениха затоптала бы малыша-волчка, если бы не появилась встревоженная волчица. Кто знает, быть может, она затоптала бы и волчицу, если бы её сын, её надежда и её страх, не ткнулся в её набухшее вымя.

И кто знает, может быть, мать-волчица, увернувшись, подрезала бы сухожилие оленухе, а потом зарезала бы оленёнка, если бы её сын – её гордость и её боль – не ткнулся бы беззаботно в её сосцы...

Стоял июнь – кто, скажите мне, враждует, кто угрожает, кто пугается

в июне, в жаркий, багряный трепещущий полдень, когда истомой течёт белое живое молоко и когда дети приникают к сосцам?!

...Они разошлись – волчонок и оленёнок, никогда больше не повторившие своей игры. Много ещё иных встреч, опасных и радостных, придётся им пережить врозь, прежде чем состоится их последняя, так печально непохожая на первую, встреча, на которой заматеревший Серый Вожак поёт свой тёмно-зелёный вой у неподвижной короны Благодарного.

* * *

Пришла первая их осень: с туманами и серыми дождями, с пожухлой травой и струящимися сыростью скалами, с градом и неожиданным громом, рычащим в трещинах гор, которые в ответ глухо вздыхают бурями осыпями.

Пришла осень: с тревожащими непонятно-сокровенные, сладкие чувства вздохами и хрипами, с угрожающим, гулким, зовущим криком страстных разъяренных Повелителей, к которым уходила мать-маралуха. Осень: с одиночеством, с грустью и удивлением перед такой полнотой и непознанностью, и таким разнообразием жизни. И перед таким ярким её усыпанием. Медленно опадали последние листья на плечи юному маралу, и только ели всё так же чернели влажной хвоей...

За осень – мягкая, пушистая зима, вкрадчивая и опасная своими ловушками, внезапными снегопадами и голодом. Но как раз зимой узнал волчонок силу своих челюстей, и пришлось напрягать волю, чтобы побороть хромоту и не отстать от матери-волчицы, старших братьев, с которыми пришёл волчонок в зимнюю стаю. А оленёнку потребовалась вся быстрота его ног, вся унаследованная ловкость и чувство тропы, чтобы избежать тех волчьих челюстей. Но они росли. И каждое преследование делало их сильнее, каждая удача – красивее, каждая обида – горделивее, каждое внимание – осторожнее; а кровь в жилах несла свою мудрость, и племя диктовало каждому свои законы.

...Бежит, спешит, стремится куда-то одновременно-многоцветная вода в бурливой горной речке, возле которой родились и выросли волчонок и оленёнок. Возле которой превращались они в волка и марала.

Гудит и ревет Чёрная речка, унося весною валуны и упавшие стволы. Волнуется и урчит Красная речка летом, смывая принимаемыми в себя ручьями глину с отгорков; мельчая порой, шепчет невнятным призрачным языком в жаркие дни. Прыгает и захлёбывается Буро-серая речка, испятнанная жёлто-красными листьями, фиолетовыми ягодами, простроченная рыже-зелёными иглами – осенью. Журчит и булькает, и чревоугодит под бело-зелёно-оранжево-голубым панцирем льда перекатная Ледяная речка – зимой.

И всегда – всегда-навсегда – поит она всех, наклоняющихся к ней. И всегда – изменяясь сама – показывает она, как идёт время: вот наклонился ты утолить жажду – и видишь не того головастого разлапистого смеющегося щенка, а широкогрудого, с седоватым воротником, пружинисто-валкого в походке и сурового Первого волка, Серого Вожака; и не того рыже-пятнистого, гололобого, удивлённо-восторженного сосунка, но – стоит на высоких сухо-мускулистых ногах серебристо-бурых, с тяжёлой короной и тёмной гривой, спокойно-одиноким марал, Благородный олень.

Бежит, торопится куда-то всех принимающая, всех утоляющая, всех примиряющая бурная горная речка.

Туда: в верховья её, в трепетный разряженный воздух, в голые нежные, хрупкие просторы льдистых арчевников и серебряных эдельвейсов, среди которых нарождалась их речка, – туда стал уходить с третьего своего лета Благородный, как только появились у него рога. Там сберегал он молодые кроветворные свои панты от насекомых и других охотников за ними, спускался вниз лишь к осени, когда нежные побеги на лбу окаменеют и станут короной и оружием. Туда изредка добирался и Серый Вожак в надежде утолить голод, там ловил иногда рассеянного улара или случайного молоденького тека.

Там – в высоком студёном воздухе – была речка совсем такая, какими они были внизу, в детстве: речка-волчонок, речка-олёненок.

VIII

ОНИ встретились и в тот раз, когда возмужавший волчонок был ещё просто Лобаном и впервые попытался найти себе подругу. Это случилось на третью зиму. Он, будущий Серый Вожак, немного позже признанный грозой и мудростью окрестных гор, проиграл первый бой за любовь.

Да, им обоим предстояло ещё пройти и через это: любовь завоевывается трудной и дорогой ценой. Ибо любовь – это Продолжение. И каждому надо подняться до любви, чтобы никогда не рухнул род его и не закаменел в ненависти.

Это было на третью зиму. Наверное, в этом же году, хотя у него и появилась уже корона, подобная неприятность случилась и с Благородным. Во всяком случае, именно той осенью он стал жить на своём утёсе, когда остальные его сородичи ревели, дрались и гонялись друг за другом ниже, сбивая свои брачные гаремы.

Зато молодой марал не потерял свою растущую силу, да ещё накопил ярости настолько, чтобы пойти на бывшего вожака волчьей стаи, окружившей Благородного. Волк помнит, как в самый миг прыжка матёрого убийцы поднялся олень на дыбы, раздражённо закусив язык и упрямо

наклонив могучую голову, с хрипом опустил оба передних копыта на сразу треснувший череп старого вожака, опоздавшего в прыжке.

Лобан запомнил тогда растерянность стаи, запомнил совсем невинного, случайно попавшего на пути Благородного, волчонка с разодранной грудью, отброшенного рогом. Запомнил, понял и принял науку. Серый Вожак был, пожалуй, благодарен оленю за урок, да погибший старый волчара, прежний вожак, не был достаточно умен, а глупость и власть делали его тираном стаи; а порой грозили и самому её, стаи, существованию – слишком часто старик решался нарушить табу на близлежащие отары...

Следующей зимой Лобан завоевал право на любовь.

И занял место Первого волка стаи – собрав ошибки собственные и погибшего старика в опыт, стал Вожаком. Его предшественник был силён и несколько лет вёл стаю жестокой дорогой: сытость давалась порой легко, но стая редела от преследования. Старик мало беспокоился, что роду надо жить и завтра... Серый Вожак осторожностью и примером, силой и сбережёнными жизнями своих сородичей научил волков Заботливой Свободе стаи. Успешному для них закону.

Каждый волк – от переярка до матёрого – должен осознать и принять: любое его действие, где бы он ни был и в любое время года, что-то несёт и остальным, что-то – утверждающее существование рода или перечёркивающее его.

Ты можешь, разумеется, отбить и зарезать овцу, можешь даже забраться в курятник или овчарню, перерезать всех и нажраться... Но на всю жизнь не нажрёшься, у желудка память короткая, и завтра он потребует снова. У тебя пока есть силы, чтобы скрыться от преследования, есть убежище, где спрятаться. Только надолго ли?.. Ненависть порождает ненависть, зло питает зло, цепляются друг за друга и ширят вокруг себя круги вражды, что рано или поздно захлестывают их породившего. Да, ты сегодня избежал преследования, но вместо тебя под пулю или копыта попал другой: стая стала слабее, ей – и тебе, слышишь! – зимой не удастся взять достаточно добычи, кто-то ещё неминуемо погибнет. А летом меньше родится детёнышей в наших логовах, и они вырастут слабее, и страх будет преследовать их с рождения. Ослабнет и исчезнет род твой или выродится в шакалов... Тогда погибнешь и ты.

У тебя нет в природе врагов, есть – противники, соперники, на место которых ты должен уметь себя поставить: уважай их, ведь от их жизни зависит и твоя, и не считай их глупее себя. Ненависть худой помощник, она отрицает иные законы, кроме собственного, – нет ничего противнее природе, противоестественнее. Есть – необходимость, поэтому будь мудр и добр, даже убивая. Живи законом уважения к правам твоих противников на Продолжение и сохранение – и стая будет сильна, и ты – ты! – будешь силён и сыт вместе с ней...

Серый Вожак умел любить.

Он – волк – был однолюб. И та, которую он любил, любовь которой отвоевал он в непростой борьбе, укрепила его любовь к стае, потому что стая продолжала и поддерживала род.

* * *

...Молоденькая чепрачная волчица с немного тонковатой, как у лисы, мордашкой сидела у куста барбариса возле пробившейся из-под льда речки. Вздёрнутые уголки глаз и нервные ноздри придавали ей ласковое и хитрое выражение одновременно.

Рядом были трое волков, которых здесь Лобан прежде не видел. Двое из них – матёрые – лежали близко к волчице и пыжили шеи, третий вьюном вертелся меж всеми, не решаясь, впрочем, приблизиться к юной самочке.

Лобан подошёл валкой походкой, упругий и приветливый, стараясь не обращать внимания на привздёрнутые в глухом бормотании губы матёрых. Ему достаточно оказалось встретиться взглядом с юной волчицей, чтобы понять – вот оно, предназначение и обречённость! – чтобы вздрогнуть от единственности одного для другого.

Что бы там ни говорили, любовь – это молния, ударившая в дерево, а разве дерево выбирает молнию? Это обречённость и предрешённость. Она может состояться, а может и нет, и тогда, хоть годами убеждай себя в необходимости, в удобстве, в терпении и привычке, любви не будет. Всё остальное потом – уважение, долг, дружба: всё меркнет в памяти, не освещённой молнией любви. Так устроена природа – это её путь к гармонии, ибо любовь – великое Продолжение...

А Серый Вожак встретился взглядом.

И дальше неважны уже были и ревнивое бормотание, и оскаленные белые клыки под вздёрнутыми в ненависти губами – соперники сразу ощутили их затрепетавшую близость. Для него важен стал этот куст барабариса с черно-лиловыми ягодами, под которыми улыбалась ему нежно-чепрачная волчица; важна была речка у неё за спиной, что бурлила и радовалась свободе, да и солнце, под которым они вырастят волчат.

Если... если он выиграет этот бой. Для них он вовсе не был первым волком, но соперником, и бой предстоял нелёгкий... Он сохранял приветливость и не выказал напряжённости, но был готов ко всему.

Здесь юная волчица, будто предвосхищая поражение его, вскочила и побежала над речкой. Остальным оставалось только следовать за ней. Они побежали: два чужака-матёрых грузно и угрюмо рысили по бокам властительницы – насколько позволяла тропа и, пропустив волчицу на голову вперёд, чуть сзади, след в след, валко плыл Серый Вожак, а уже за ним юлил переряк. И было непонятно, зачем он-то

здесь, скорее всего, юнец был братом самочки. Лобан был благодарен ей за отсрочку: в беге можно было приглядеться к соперникам. Всей группой, соединённой лишь ревностью и ожиданием, они вынырнули на плато.

Мягкими полуволнами, вспененными терпким зелёным арчевником, плато стелилось меж двумя большими ущельями, которые впадали в его речку своими нервными ручьями. На этом плато жило много зайцев, они жили своей жизнью. Но волки смотрели только на подругу-властительницу, не обращая внимания на прыскающих в стороне косых, белые хвосты которых уже мелькали по стенам гребня над плато.

Солнце садилось. И длинные тени бегущих волков, мелькающих зайцев и чуть колеблющегося арчевника завораживали ещё одного, неподвижного и собранного в пружину, жителя этих мест...

Громадная рысь, с бело-серебристым телом, по которому чуть заметно проступали тёмные пятна, длиннее туловом, пожалуй, любого из матёрых. Зверь напрягся, готовясь к прыжку в ближний куст арчи. Рыси бы пропустить не заметивших её волков, и тогда наслаждаться охотой. Но самоуверенная и нетерпеливая кошка боялась упустить добычу: не выдержала и накрыла зайца, заверещавшего на всё плато. Визг был хоть и не долгий, но разодрал морозный воздух острым трепетом последнего отчаяния.

Волчица повернула голову.

Нимало не сомневаясь, один из охранителей волчицы помчался к рыси.

Рысь присела: дерева рядом не было, а свежая добыча давала и подстёгивала право на сопротивление.

Остальные волки стояли и смотрели. Они были сыты, или им было не до еды. И это была не стая – случайная группа, каждый в которой шёл к одной цели своим путём. Тот чужой волк пошёл противозаконным, путем ненависти, – за рысью оставалось право первого и голодного. И эта слепая ненависть, или острое желание выделиться среди претендентов, подвели чужака.

Самец-рысь подпрыгнул свечкой, пропуская несущегося врага, и выдрал по пути у него с лопатки лоскут шкуры. Когда ослеплённый неудачей и яростью первой боли матёрый развернулся, рысь опрокинулась на спину и приняла волка на все четыре когтистые лапы, каждая из которых почти вдвое была толще волчьих. Волк успел полоснуть её, и бакенбард рыси сразу залился кровью, а вместо глаза осталась до лба развалившаяся борозда.

Жуткий вопль кошки раздался над сцеплёнными борцами, такой вопль-визг, что плавно кружившая ворона в панике взмыла и захлопа-

ла беспорядочно крыльями, уносясь прочь. А чужак-матёрый отвалился и стал отползать от куцей свирепой кошки, на быстро пятнеющем снегу тянулись его внутренности.

Рысь перевернулась на лапы и, всё так же вопя, помчалась неровными прыжками к небольшому камню-утёсу, возвышавшемуся на плато. Её никто не преследовал...

Но здесь, то ли возбуждённый виденной схваткой и пряными сладковатыми запахами ярости, то ли просто решив заодно покончить со вторым Соперником, другой чужак бросился на Серого Вожака. И сбил его, не ожидавшего нападения, с ног.

Молоденький волчонок, заскулив, растерянно жался в сторону волчицы.

Волчица не удивилась. И не воспротивилась – здесь её власть кончалась. Она не могла выбирать, не могла вмешиваться: отцом её детей должен стать сильнейший. Она могла лишь про себя желать победы одному из них.

И Серый Вожак всем существом почувствовал – кому, он ощутил эту поддержку. Но сил его соперника это не убавило, и он снова яростно и расчётливо набросился на Лобана, едва чепрачная самочка уселась поодаль. На этот раз Вожак встретил удар клыки в клыки, так что пошёл скрежет...

Шерсть летит ключьями, всё истоптано на пяточке их поединка. Хрипение учащает дыхание, а у Лобана уже располосована лопатка. Они снова и снова сшибаются клыками, и чужак успевает прихватить, прокусив, его верхнюю губу. Это невыносимо больно, гораздо больнее кровотокащей лопатки, а чужак, не разжимая зубов, водит его по кругу, приближаясь к волчице. У Лобана на глаза навёртываются слёзы, он кружит и кружит, приволакивая лапы, но подчиняясь чужой воле. Он слабеет, ему кажется, что вернулась хромота от капкана, которую он давно преодолел.

Он замечает вдруг в глазах соперника победные искорки, они ехидны – чужак не торопится к новому маневру, он наслаждается этим унижительным вождением противника по кругу боли. И это унижение острее самой боли...

Серый Вожак напрягается и изо всей силы дёргает головой, губа его рвётся, а враг, не ждавший такого поворота, отлетает в сторону. Не давая тому опомниться, бросается Вожак с силой, которой у него не было до битвы. Он почти подбрасывает противника, снова ловит за лапу, всем телом проворачивает так, что ощущает хруст. Он швыряет и катает чужака, не давая тому опомниться, но и не торопя развязку.

Вот чужак сумел ещё раз подняться, шатаясь, но вместо того чтобы броситься вновь, выгнул шею и подставил яремную жилу.

Переярок снова заскулил. Блеснули глаза волчицы.

Да, он мог бы кончить одним махом клыка. Но ему не нужны были ни унижение соперника, ни сама жизнь его.

Вожаку нужна была подруга и сознание, что ей нужен – только он. Лобан любил свою чепрачную юную волчицу с почти лисьей мордашкой и нежными глазами. Первый волк привёл её в стаю.

Тех двух, чужих, он тоже привёл с собой.

* * *

... А у Благородного не было стаи.

У марала были свои законы. И главный – одиночество. Даже тогда, когда стоял он на вершине своего Утёса и рядом с ним красовались три молодухи-оленухи, ждали его внимания и оплодотворения, – даже тогда он оставался один. Осколок луны плыл между рогами, звёзды чуть поблёскивали на тёмно-голубом небе и в задумчивых фиолетовых глазах оленя.

Он носил тогда свинец в ноге? Скорее всего, нет, иначе рядом с ним не было бы в тот год маралух. Ведь и ему, как счастливому Серому Вожаку, проходящему под Утёсом марала, пришлось выдержать свой бой за Любовь и Продолжение, здесь у природы один закон для всех.

О, это была серьёзная победа. Всего за год до этого октября Благородный был второй раз вынужден повернуться к сопернику крупом и бежать, получив несколько ударов расвирепевшего старого марала.

И вот они вновь застыли друг против друга. И Благородный уже знал, что он выиграет этот бой, должен выиграть.

Старый марал тоже знал это, в его взгляде уже не было ни былой усмешки, ни прежней уверенности сильного. Однако он не мог себе позволить просто уйти с утёса.

Три молоденькие оленухи, которых впервые привлёк многодневный лающий рёв, смотрели снизу на застывших самцов. Природа – безукоризненный скульптор, и эти мгновения неподвижности живых изваяний наполняли округу



таким торжеством ожидания, что даже облако на ровном голубом небе остановилось над заснеженным пиком гор. Чуть в стороне стояла взрослая маралуха.

Глухо ударили рога. Ещё удар, ещё. И вот уже рога переплелись, каждый мускул шей, высоких ног, спин противников будто отлит из металла в своей давящей напряжённой неподвижности. Вот медленно, почти неощутимо шея старого марала начинает клониться в сторону, а напрягшиеся ноги подламываются в коленях... И старый пригибается к земле, вот он уже передними коленями касается травы. Резким, последним усилием он отрывает свои рога и... поворачивается задом, уходя. В страсти победителя нет места жалости и сомнению: Благородный догоняет и успеваает несколько раз боднуть этот уходящий зад, а затем победно трубит на всю округу – хотя его отвоёванный гарем совсем рядом...

Конечно, Благородному нет нужды учиться добру и справедливости, конечно, он сам – будто их воплощение, но его любовь – холодновата... Он не знает своих детей. Да, у каждого свои законы, лишь бы они сообразовывались с общими и несли потомству путь к гармонии уже в семени своём. А в этом его, Благородного, не упрекнёшь. Даже то, что рядом с ним три оленухи, – необходимость, ведь у них больше врагов, и детям их нужна сила и совершенство Благородного, потому что их роду тоже нужно жить дальше...

Так мог бы думать счастливый Первый волк здешних урочищ, ведя в стаю юную чепрачную волчицу и двух бывших соперников; так мог бы чувствовать пробуждённой памятью своей удачливый Серый Вожак, проходя после битвы своей под Маральим Утёсом в их предпоследнюю встречу с Благородным. Потому что память – тоже путь к гармонии, и потому что память эту Лобан передаст теперь своим волчатам.

Что ж, они оба честно и мужественно отстаивали своё право Продолжателей.

IX

ПРОШЛО полгода, как Благородный совершил свой последний, неудачный прыжок и накормил собою стаю, а Серый Вожак Лобан, не сумев сдержать своей грустной памяти, спел прощальную песню над соперником-соседом...

Или над собой, над проклятьем преследования племени своего?

Казалось бы, нет: сейчас, через полгода, в логове его копошатся семь толстых, головастых, несуразных и милых щенков, у некоторых уже заметен чепрак по спине или тяжелый отцовский лоб над озорными глазками. Что ж, они оба стали Продолжателями и умудренными Вожаками своих родов. Они – и Благородный и Первый волк – следо-

вали своим законам и своему пути в природе. Их дети ходят сейчас по их речке, которая всё так же убегает от ледников, прирастая детьми своими – ручьями.

Да, волк видел двух красавцев-олений, точно копию того, которого уже нет. Наверняка, в этих ущельях ходят и другие дети марала. И у волка снова здесь, на Маральем Утёсе, что оставил Серый Вожак за собой, появились дети от чепрачной волчицы, уже начинающей сидеть, но сохраняющей всё ту же лукавую нежность в косо разрезанных глазах тонкой, почти лисьей, мордашки...

Весна проходит, прошла почти. Их речка отшумела и бежит теперь монотонно и ровно. И сыновья Благородного, наверняка, ушли выше в горы сберегать молодую поросль рогов.

Наверняка, потому что именно туда по верхней тропе проехал на лошади грузный зелёный человек с ружьём, которого Серый Вожак уже видел здесь в прошлом году, а запах которого словно тревожно знаком Лобану ещё с детства. С тем человеком была странная собака. Волк принял бы её за одного из своей семьи, если бы не постоянно машущий хвост, завернутый неуверенным кольцом.

Но Вожаку особо некогда было раздумывать. Ему надо было кормить детей и подругу. Весной на пути этого человека с ружьём можно найти достаточно свежего мяса, и оно не пахнет опасностью. Это мясо не нужно было человеку, даже сам волк ему сейчас не очень был нужен.

Охотнику в это время нужны сыновья Благородного, даже не сами олени – их молодые, хрупкие, дорогие рога-панты. Память о них и жажда получить была способна повести человека на любое безумие.

Волк осторожно порысил в том направлении. И не сразу заметил ещё одного всадника, направляющегося в ту же сторону по следам, которые этот человек высматривал и узнавал. Заметив его, Лобан стал лишь осторожнее. Хотя второму всаднику – его-то запах волк встречал здесь всюду, это был егерь, – казалось, тоже сейчас было явно не до Серого: егерь торопился вослед браконьеру. «Волк дорогу перебежал – к удаче...» – усмехнулся про себя человек и продолжил путь.

Поздневесенние погоды в горах обманчивы. Вот только что ещё светило солнце, было жарко и сухо, потом клубами стал наползать туман. Эти молочные клубы сперва будто неуверенно, какими-то рывками просачивались через хребет, оседали в щелях и расщелинах, обволакивали серой сыростью сразу побуревшие ели.

Волк остановился, нюхая потяжелевший воздух; потом пошёл, заструился сам своей валкой походкой, подобный туману, в обход предполагаемого им первого всадника. Его мех тяжелел оседающей моросью. Где-то в отдалении слышалось глухое, словно набухшее уханье странного пса.

...И волк вздрогнул – бухает выстрел.

Внизу, в тумане, что-то копошится, слышится поскуливание, доволь-

ное и льстивое... И второй раз вздрагивает невольно Серый Вожак – к этому нельзя привыкнуть: на противоположной от него стороне, выше выстрела и поскуливания, раздаётся человеческий голос. Здесь был бы слышен даже шёпот: щель резонирует любой шорох в сочащемся сыростью воздухе.

– Че-ерканин! Это я – егерь. Узнаёшь? Шёл следом, да не успел! Оставайся возле марала – теперь уж не уйдёшь... найду и докажу!..

И третий раз вздрагивает волк – снизу на голос отгрызнулся выстрел.

– И-их-хрр... ч-черт... Ничего не поделать – не отступит ведь, – бормочется на противоположащем Лобану склоне.

А Первый волк застывает, вмерзает в туман.

И оттуда, со склона, несутся вниз два выстрела – один за другим.

И становится тихим-тихо, слышится, как путается в еловых лапах туман, как на одной ноте визжит собака, да где-то лошадь равнодушно пережёвывает удила.

Он не знает, что им движет, но он решился – Лобан, Серый Вожак. Давя в себе дрожь, вздыбив гривастый воротник, набычившись и почти не ступая на подушечки лап, невесомо-серый и туманный, спустился он вниз.

Первой заметил он тёмную собаку, прилёгшую на бок, заискивающе и угрожающе ощерившуюся. Потом – глыбу лежащего марала, череп которого расколот, зияет грязная кровоточащая дыра и один мохнатый влажный рог валяется рядом в траве. Это было так неестественно, что Вожак чуть не повернул назад. Растекался кислый запах свертывающейся крови, пороха и мокрой шерсти.

И навзничь, раскинув руки и отбросив страшное ружьё, лежал толстый человек, с толстым лицом, с толстыми закушенными губами...

Волк вздрагивает теперь машинально, кожей, не пуская в душу страх: теперь прямо над ним опять раздаётся голос. Вздрагивает волк, но всё ещё не уходит, будто примороженный туманом.

– ...Где ты, Черканин? Выйди, только брось ружьё. Не стрельну, хоть ранен... Это уже не баловство! Брось, говорят, и выходи на голос: я у твоей лошади... – Егерь звал напрасно.

Серый Вожак, как заворожённый смотрит на врага своего, на убийцу Благородного. Он и сейчас не решается приблизиться к человеку, и запах двуногого даже сейчас холодит кровь. Они одни. И человек неподвижен. И вдруг – откуда она взялась?! – на лицо человеку садится чёрно-рыжая усталая бабочка и медленно-медленно сводит и распаивает набухшие крылья. Как память...

А туман густеет и засасывает. И пора, надо уходить. Они – Благородный и Серый Вожак – совершили своё Предназначение, их дети ходят по речке. А дети их детей?.. Вожак так повернулся к собаке-волку, этому

человечьему ублюдку, что тот понял. Первый волк этих гор не знал, что это был его племянник, но предательство есть предательство, даже в волчьем обличе, их семя легло на чужую почву...

Потом Серый Вожак подошёл к человеку совсем близко. Обнюхал его, раздражённо чихнул. И, задрав лапу, поставил свою метку. Этот Адам сам изгонял себя из созданного только себе рая. Вожак знал и другого, их топоры рубят так легко под собой сучья... есть другие. На всех он не мог направить свою метящую струю, волк не был богом. Лобан, как и Благородный, был лишь одним из...

– Черканин... Черканин! А, чёрт бы тебя... где ты? Выходи...

Серый Вожак, мягко и валко ступая по низкому глухому туману, уходил домой.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
И мой сурок со мною... ..	5
Беличий переполох	8
Горный матрос	11
Колючка	17
У каждого своё море	26
Призрак	37
«...По тундре путь прокладывать»	45
Чужак в стае	54
Позёмка на дороге	61
Из пустыни:	
Пустыня	68
Глухое ущелье	69
Найдёныш	72
Ночлег	78
Гладиаторы	88
Восточная легенда	94
Нежный человек Хол	99
В давние времена	105
Вожаки	110

Вячеслав КАРПЕНКО
И мой сурок...

Повести и рассказы:
Книга для семейного чтения

Обложка И.М. Гершбург

Редактор Т.Г. Тетенькина
Дизайн, иллюстрации, вёрстка А.В. Попов

Формат 70x100/16. Гарнитура Georgia. Тираж 750 экз.
Бумага офсетная, печать офсетная,